

ИРИНА МИХАЙЛОВА



ПУСТОЙ ГОРОД

ПОВЕСТЬ

Подъезжая к вокзалу, поезд замедляет ход. Как будто раздумывает — остановиться или проехать мимо — и даёт пассажирам возможность подумать о том же. Возникает ощущение, что всё происходит во сне — из тумана и сырости появляется знакомый забор, изрисованный граффити, будка станционного смотрителя, сам смотритель в оранжевой форме с круглым знаком в руках и наконец, перрон, серый, как и весь город. Останавливается поезд тоже нехотя, словно устал после долгой дороги из Москвы.

Я стою последней в длинной очереди из тех, кто только что со мной ехал. Поезд полон, удалось купить только боковую верхнюю полку, да и то взяла последний билет. Люди спешно бросают Москву, поддаваясь всеобщей панике, возвращаются в свои городки, чтобы переждать сложное время.

— В Город? В Центр? В Заречье? — после тишины поезда на меня обрушивается мир звуков.

Таксистов больше, чем приехавших. Видимо, это те, кто вернулись домой раньше и пошли бомбить. Это слово я впервые услышала от отца. Сам отец тоже иногда в отпуске бомбил. Садился в свою “Мазду” старше меня и ездил по городу. Иногда я садилась с ним. Тогда он не подвозил никого, а просто катался по городу и рассказывал о тех местах, о которых хорошо знал. Рассказывал, что когда-то в берёзовой роще у реки стояли цыганские

МИХАЙЛОВА Ирина родилась в 1986 году в Люберцах. Окончила Литературный институт им. М. Горького (семинар прозы А. Е. Рекемчука). Публиковалась в журналах и альманахах “Наш современник”, “Пролог”, “Кольцо А”, “Зелёный бульвар”, “Сибирские огни”, “Пятью пять”, “Юность”, “Роман-газета”, “Пашня”, “Нижний Новгород” и т. д. Лауреат международной литературной премии “Радуга” в номинации “Молодой автор года”. Работает учителем русского языка и литературы.

бараки, а том месте, где десять лет назад построили церковь Афанасия и Феодосия, пасли коров. Что металлургический комбинат, который сейчас занимает целый район, был небольшим заводом.

Я в свою очередь показывала отцу, где бывала. Кафе в центре, где подадут любой кофе, какой только захочешь — и модный латте, где молока больше, чем кофе, и капучино с белой пенкой, на которой можно выложить сердечко или капельку, и глянсе с мороженым, и суровый американо, и даже венский. Полуподвальный литературный клуб, куда мы ходили с Лизкой, о котором знают только избранные, потому что вывески нет. Там не найдёшь модного дорогого кофе, зато всегда есть крепкий чай в пакетиках, которые можно заваривать несколько раз. Мы пили этот чай весь вечер, пока на крохотной сцене кто-то играл на гитаре или читал стихи.

Удивительно, как в моём городе появился подобный клуб, как кто-то нашёл для него помещение и как люди узнавали о вечерах. Но он всегда был полон, и места бронировали заранее. Именно там я прочитала свой первый рассказ. Держала в руках три листа, не отрывалась от них, потому что боялась забыть текст, а эти листы дрожали, и буквы расплывались. Рассказы слушали менее внимательно — больше любили песни и стихи, — но, когда я читала, не гремели ложечками. Лизка сказала, что рассказ у меня самый крутой из всех, которые она читала. Но это потому, что она совсем ничего не читала. И, в отличие от тех, кто приходил в этот клуб, не писала. Просто слушала, иногда аплодируя вместе со всеми.

Мне хочется зайти в наш клуб, посмотреть, кто выступает. Но сейчас карантин — кафе, театры, кино закрыты. Да и не за этим я вернулась в свой город, в котором не была два года, с которым меня ничего не связывает, кроме того, что я родилась здесь двадцать лет назад и здесь живёт мой отец.

Я отмахиваюсь от таксистов — без них могу доехать до дома. Трамвай в городе один — он ездит по кругу от вокзала до вокзала. Почему-то в трамваях у нас всегда холодно, в отличие от автобусов, в которых топят так, что приходится расстёгивать куртку, снимать шапку и разматывать шарф. В детстве я любила ставить ноги на горячую батарею сбоку от кресла и ехать так всю дорогу, отогреваясь и оттаивая. Когда я ездила с мамой, она сажала меня около печки, а сама стояла рядом.

— Разве ты не хочешь погреться? — спрашивала я.

— Мне тепло, сиди, — отвечала мама.

Ей было так же холодно, как и мне, но это желание отдать всё и ничего не оставить для себя свойственно ей. Наверное, поэтому мама прожила с моим отцом столько лет. Другая бы давно ушла. Ещё, может, задолго до моего рождения. И меня бы не было. Точнее, была. Но не я. Какая-то другая. Может, лучше.

Трамвай мне нравятся. Раньше я каталась в них без цели по школьному льготному билету. Ездят в них, в основном, на вокзал и с вокзала. Значит, те, кто уезжает из города, или те, кто возвращается. Мне нравилось всматриваться в лица и тех, и других — напряжённые и сосредоточенные. Я мысленно гадала, какое количество этих людей никогда больше не вернётся сюда, зацепится в Питере или Москве и останется там навсегда? А сколько вернётся через год, униженными и оскорблёнными, так ничего и не достигнув? Я замечала, что на вокзал трамвай ехал забитый людьми, а обратно полупустой. Значит, возвращались не все. Большинство пропало где-то, оседало и забывало о городе.

Чтобы попасть на остановку, надо пройти через вокзал. Он маленький, зелёного цвета, именно такой, каким я помню его. Наверное, в городах, подобных моему, вокзал — это то единственное, что не меняется никогда. Вырастают новые дома, застраиваются целые кварталы и районы, торговые центры появляются и исчезают, но вокзалы даже не стареют. Разве что в них поставят новые кофейные автоматы, единственный признак быстро меняющейся современной жизни. Хотя эти автоматы, новенькие, чистенькие, стоят здесь, скорее, для вида. Вряд ли они пользуются спросом — тридцать рублей за кофе слишком много. Зачем тратить деньги? Можно доехать до дома и налить себе растворимый из железной банки.

Именно такой кофе всегда пил мой отец. Наливал очень густой — две ложки с горкой. Столько же ложек сахара. И никакого молока. Отец не признавал ни кефир, ни молоко, ни, тем более, йогурт. Наверное, это не должно удивлять. Я никогда не видала литейщиков, которые любили бы молоко или творог. Отец выпивал такой стакан залпом. Один раз я попробовала из его чашки — пить невозможно. Страшно горький, напоминающий чёрный шоколад. А отец выпивал стакана три-четыре в день.

Я останавливаюсь около автомата, пропускаю людей, вышедших со мной из поезда, вперёд. Не хочу ехать с ними в одном трамвае, а потом выходить с кем-то на остановке и идти по грязной дороге. Боюсь, что, оклемавшись от ужаса возвращения, они начнут спрашивать меня о том, куда я еду, к кому. У нас почему-то принято заводить знакомства в дороге. В Москве я такого ни разу не видала. В Москве только сумасшедшие или пьяные заговаривают в метро, но на них не обращают внимания, стараясь обогнать, чтобы скорее отвязаться. Здесь же стоит проехать пару остановок в автобусе, как кто-то обязательно полезет со знакомством. А мне хочется проделать свой путь назад совершенно одной.

Беру американо — только кофе и вода. Крышки для стаканчика нет, скорее всего, их растащили уже через сутки после установки автомата, хотя кому и зачем они могли понадобиться? Я отхожу к подоконнику, кладу на него сумку и облокачиваюсь на неё. Кофе совсем не такой, какой варит Саша. У него целый ритуал. Это мои любимые моменты. Можно посидеть спокойно на кухонном диванчике и ни о чём не думать, пока Саша, снимая гущу, рассказывает о том, что произошло за день на работе, в городе, в мире. Потом он садится рядом, держа в руках крохотные чашечки с нарисованными синими корабликами, которые мы привезли из Севастополя. Мы не так много разговариваем о постороннем, что не касалось бы моего института, экзаменов, его работы, дел, проблем, которые надо решить. А за кофе мы не говорим о житейском. Я рассказываю о книгах, которые читаю, Саша о сериалах, которые смотрит на “Netflix”, — на такие разговоры всегда не хватает времени, но они мне кажутся важнее любых экзаменов, институтов, работы и мировых новостей.

От Саши сообщений нет — ни одного. За три дня. Я знаю, что он точно так же смотрит на телефон, но почему-то не решается написать. Ждёт, что решу я. А я не хочу ничего решать. Я слишком устала за эти две недели, когда моя жизнь так резко и неожиданно поменялась. Как и он, я не готова к этим переменам.

Пора набраться храбрости и выйти в город.

Снег уже сошёл, но ночью ещё ударяют заморозки, поэтому я перешагиваю через горы весенней грязи, примерзшей к асфальту. Вспоминаю, как у нас ветрено. Город построен на возвышенности, поэтому круглый год его обдувает со всех сторон. Я застегиваю короткую серую куртку и накидываю кашпошон. Но ветер всё равно забирается, холодит спину, заставляет ёжиться и недовольно вздрагивать.

На остановке уже никого. Трамвай подъезжает минут через десять. Я захожу в него, сажусь и вдруг понимаю, что не знаю, как и кому платить за проезд. Ищу мелочь — я специально взяла с собой наличные, думая, что в моем городе в ходу живые деньги, а не “Pay Pass”. Но я ошиблась. Оказывается, уже можно платить карточкой, как и в московском транспорте. Трамвай практически пуст, и контролёр — грузная, неповоротливая — неохотно поднимается со своего удобного места и подходит ко мне. Я высыпаю мелочь ей на ладонь, а она жестом указывает в сторону двери. Я всматриваюсь — там висит объявление, какими завешана сейчас вся Москва. “Вход только в масках и перчатках”. Объявление не такое яркое и красочное, какие вешают на входах в магазины, а распечатанное на обычном принтере, возможно, даже самой контролершей. Я нахожу в рюкзаке пачку бело-синих масок. Их мне достал Саша — его мама принесла с работы несколько упаковок. Надеваю одну и беру у контролерши билет.

Раньше я всегда искала счастливые билетки — чтобы три цифры в начале номера и три цифры в конце, если их сложить, образовывали одинаковое

число. Почему-то считалось, что если найти такой билет, загадать желание, а потом съесть билетик, то желание сбудется. Сама я билеты никогда не жевала, даже если и находила счастливых.

Проезжаем Индустриальный район, который мы называем Город. В окна трамвая я вижу полосатые бело-красные трубы металлургического комбината. Из этих труб всегда вырывается чёрный клубящийся дым, точно там постоянно топится гигантская доменная печь. Даже ночью. Без перерывов, без отдыха, без единого дня простоя. Дым никогда не опускается вниз, не стелется по земле, а уходит высоко вверх и растворяется. Отец называет эти трубы “вечный огонь”. Хотя самого огня не видно, но дыма без огня не бывает, а значит, где-то там, в глубине этих мартенов, как их называют, пытаясь вырваться вверх лисий хвост — яркий, рыжий, пушистый.

На нашем металлургическом комбинате работает треть города. Десятки цехов и маленьких, в сравнении с гигантом-комбинатом, заводов разбросаны по территории. Действительно — отдельный Город, город в городе, в котором, как и в Москве, никогда не прекращается жизнь. Комбинат работает круглосуточно, ежесекундно выпуская чугун, сталь, кокс, металл, удобрения. Я невольно задерживаю дыхание — отец говорит, что работа здесь сокращает жизнь человека на десять лет. Почти на столько же, на сколько её сокращают сигареты. Получается, что если работать на заводе и курить, то можно потерять двадцать лет. Двадцать лет! Ещё сорок надо отработать здесь — в духоте, шуме, пыли.

Мы с Лизкой летом после десятого класса устроились на нашу мебельную фабрику. Смена начиналась в семь утра, приехать на работу надо было за тридцать минут. Мы работали по пять часов в день, но эти пять часов я не забуду, наверное, никогда. В цеху стоял постоянный гул, и, чтобы услышать друг друга, нам приходилось кричать. Под конец смены у меня болело горло и садился голос — то ли от напряжения, то ли от пыли, которая висела в воздухе плотной завесой. На обед нам отводили полчаса, в туалет каждый раз приходилось отпрашиваться, и начальница смотрела недовольно — мы занимали места тех, кто может работать быстрее и продуктивнее, а нас ещё надо всему обучать. Завтракать я не успевала, и мама собирала мне с собой контейнеры, которые я открывала в автобусе, пока мы ехали до завода. Я продержалась две недели. В итоге упала в обморок от голода, усталости, недосыпа и духоты. Медсестра, которая принесла булочку и очень сладкий горячий кофе, сказала, смерив меня взглядом: “Ну и чему здесь работать?” Я действительно страшно похудела за эти дни. Лизка проработала всё лето, купив на заработанные деньги новую одежду и косметику. Моей же зарплаты за четырнадцать дней хватило на билеты в кино и обед в “Макдональдсе”.

Наверное, именно в то лето я решила, что обязательно поступлю в институт на факультет, максимально далёкий от работы на заводе.

Аварии у нас случаются регулярно. Хотя о них иногда не передают по местным каналам, не пишут в интернете. Но я хорошо помню, как страшно становится, когда воздух наполняется тяжёлым туманом, какой иногда опускается летом, в жару, если горят торфяники. Город знает, что в такие дни надо остаться дома, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия, заткнуть влажными тряпками щель под входной дверью и дыры в оконных рамах, чтобы пары не проникли в квартиры. Много раз мы с мамой баррикадировались, весь день меняя полотенца — относили в ванну сухие и подтыкали мокрые. Город приучен к этому с самого детства. Любой ученик начальной школы может без запинки назвать признаки отравления аммиаком и отличить их от признаков отравления хлором. На трудах вместо того, чтобы шить юбки и ночные рубашки, мы шили марлевые повязки, которые хранили в классе на случай воздушной тревоги. В каждом кабинете был ящик с такими повязками, уксусом и содой. Индустриальный район обещают расселить уже много лет, но люди по-прежнему живут бок о бок с комбинатом.

Трамвай едет дальше — через Северный район в Центральный. Названия больше не напоминают о стальном гиганте — вместо улиц Доломитная, Северная Мартена, Литейщиков и Листоотделочного проезда появляются совсем другие, напоминающие московские. Проспект Победы, улица Суворова,

Олимпийская. Чуть дальше, уже на выезде из города, пойдут совсем детские названия, словно игрушечные — Радужная, Дружная, Дачная, Сиреневая. Но туда трамвай не идёт. Он свернёт и окажется в Заречье — единственном зелёном районе города. Где я и живу. Жила. Буду жить. Как долго — пока не знаю. А если закроют Москву — то... Хотя как можно закрыть целый город, тем более Москву? Да и как это сделать? Поставить охрану на каждой магистрали? Отменить поезда? Самолёты? Разворачивать машины? Сейчас мне кажется, что я не вернусь обратно. Но я уже не знаю, хочу ли возвращаться.

Я открываю дверь своими ключами.

Через несколько дней после выпускного вечера я уехала поступать в московский институт и больше не приезжала домой. Ни на праздники, ни на каникулы, ни на выходные. Правда, отец и не настаивал. Первое время звонил, спрашивал стандартное — “как дела?” Потом стал звонить всё реже и реже. Я же не звонила никогда. Поэтому точно не знаю — как он сейчас живёт, с кем и дома ли вообще. Только по денежным переводам, которые я получала от него, понимала, что с ним всё хорошо и что он жив. Деньги он присылал нерегулярно. Иногда больше, иногда меньше, поэтому я научилась откладывать их, копить. Я не работала и жила только на стипендию и на деньги отца. Но большего от него мне не нужно.

Ключ поворачивается неуверенно. Я открываю дверь и внезапно морщусь от знакомого с детства сладкого резкого запаха. Отец, услышав шум, выходит из кухни. Он в одних трусах. Без майки. Босиком. Небритый. Страшный. Совершенно незнакомый. Но весёлый. Даже как будто бодрый, только его тело, согнутое, точно от боли в животе, и руки, раскинутые так, точно пытаются схватиться за стену, выдают шаткость и неуверенность движений или, как говорят врачи, раскоординированность. Мне хватает одной секунды, чтобы определить быстро и чётко — отец пьян.

Я всегда очень быстро понимала это. По одному только его движению. Запаху. Голосу — хриплому и грубому.

— О-па! Яра! Ты откуда? — радостно набрасывается он. — Погодь!

Не дожидаясь моего ответа, шатаясь, держась за стены, он проходит мимо меня в комнату, долго там копается, гремит и выходит уже одетый — спортивные штаны и белая майка, которую называют “алкоголичка”. Всё это время я стою в коридоре, даже не положив свою сумку — она так и висит на плече, которое начинает ныть.

— А чего не позвонила? — спрашивает отец всё тем же хриплым, но весёлым голосом.

— А надо было?

— Ну, я бы встретил.

— Ты уже встретил, — отвечаю я, — в честь чего праздник?

— А что мне грустить? Я теперь безработный. Так что у меня отпуск. Бессрочный.

— Что значит, безработный?

— А то и значит. Без-ра-бот-ный, — растягивает отец, садится на корточки и опирается на стену. — Сигареты мои подай. На кухне оставил. — Он покачнулся, чуть не завалился на спину, но удержался.

— Ну, круто! — говорю я. — Знала бы — не приезжала.

— Так никто и не звал. Два года не было, и дальше не надо. Дуй обратно. Мне тут никто не нужен. Никто, поняла? Мне нормально тут. — Отец закашлялся от такой длинной речи.

— Это вообще-то и моя квартира тоже. — Я открываю дверь в комнату, которая когда-то называлась детской.

— Так тебе квартира нужна! Ты ради квартиры приехала? Так на, забирай! — он берёт ключи и бросает, чуть не попав в меня.

Я хлопаю дверью своей комнаты. Отец фыркает что-то неопределённое, гремит, видимо пытаясь встать, топчется немного в коридоре и уходит на кухню, тоже хлопнув дверью.

Моя комната совершенно не изменилась. Только словно бы постарела, запылчилась, как старый ковёр, который при переезде в новый дом забыли

снять со стены, и он остался висеть и постепенно из нового красивого и чистого превратился в тусклый пыльный и обветшалый. Комната маленькая — кровать, комод, куда я складывала свои игрушки, стол, где когда-то стоял компьютер, и платяной шкаф.

Я ставлю сумку на пол, запираю дверь на защёлку, которую мы когда-то врезали с мамой на тот случай, если отец напьётся сильно и будет буяннить, и достаю сигареты. Я знаю, что курить мне нельзя, но не курить сейчас просто невозможно.

В моей комнате есть одна особенность, которая мне очень нравится. В нашем подъезде на первом этаже открыт небольшой магазин, и моё окно находится прямо над крышей. Получается, что можно вылезти на неё и сидеть. Спокойно курить, звонить, кому хочешь, и не бояться, что разговор услышит мама или отец. Здесь я хранила все запрещённые вещи — сигареты, энергетики, косметику, которую покупала втайне от мамы, взрослые журналы, которые ходили по рукам в нашем классе. Много всего. Это была моя вторая, тайная, комната, о которой никто не знал, никто не догадывался заглянуть в эту часть моей жизни.

Я открываю окно и вылезаю на крышу, нахожу место почище, сажусь и достаю сигареты. Медленно закуриваю и мысленно просчитываю — судя по длине щетины, отец пьёт недели две. Значит, что уже скоро он будет ходить по квартире, хлопать дверями, ежеминутно переключать каналы на телевизоре, злиться, что там нечего смотреть, ругаться на политику и политиков, причем на всех сразу — на президента, на оппозицию, на все партии и всех депутатов вместе взятых. Потом отец выдохнется, агрессия сменится апатией. Он перестанет есть, будет смотреть в одну точку, словно смертельно больной, который только что узнал свой диагноз и ещё не принял его. Затем дикая слабость, ломота во всём теле, словно при гриппе — встать с постели будет подвигом. Я помню, как мама водила его в ванну, точно инвалида, заходила вместе с ним, ждала, чтобы довести обратно до постели. По дороге он падал, а мама с трудом поднимала его.

У меня сейчас есть два варианта — немедленно уехать, оставив отца разбираться со своей жизнью и со своими проблемами самостоятельно, или остаться с ним до конца.

Я достаю телефон и машинально делаю фото рощи. Деревья, ещё голые, но уже с едва появившимися зелёными почками, покачиваются, словно кивают. Мы с Сашей каждый раз, когда ночевали вместе, снимали утро из окна его комнаты. Мне нравилось потом смотреть, как оно менялось — осеннее, грязное, с потёками на дороге и опавшими листьями, тонущими в лужах; зимнее, холодное, бесснежное или с белыми шапками на деревьях; светлое весеннее с ярким солнцем и рассветом; и моё любимое летнее, когда можно никуда не торопиться, а стоять долго под ещё прохладным утренним солнцем, когда уже чувствуется скорая жара и долгий день, в котором есть только мы и ничего и никого больше.

Мы не расставались больше, чем на те дни, когда Саше надо было сдать чертёж, и он буквально ночевал на работе. Обычно мы встречались с ним каждый вечер. Я ждала его у института или же мы пересекались в кафе на Казанском вокзале, чтобы взять эклеров и поехать к нему.

Я выкладываю фото в инстаграм и достаю ещё одну сигарету. Я хотела бросить, но выдержать теперь этот карантин без сигарет мне будет так же тяжело, как отцу без алкоголя. И заставить меня некому. У отца хотя бы есть я, у меня сейчас — никого.

В квартире тихо. Отец допил бутылку, а значит, проспит часа два. За это время я должна максимально подготовиться. Первым делом я собираю все ножи и ножницы, складываю их в пакет, завязываю и отношу в свою комнату. Дальше ищу в квартире всё, что содержит спирт — одеколон, корвалол, настойку боярышника. В коридоре я нахожу спиртовой гель для рук, его тоже убираю. Затем собираю в отдельный пакет все пустые бутылки. Их семнадцать, они стоят аккуратно в ряд на кухне возле раковины, а на столе две полные — из-под вина и пива. Вино уже открыто, поэтому я выливаю его в раковину и смотрю, как из бутылки льётся белое дешёвое,

похожее на разбавленную жёлтую краску. Такое вино мы покупали с Лизкой в магазинчике недалеко от школы, где нам продавали всё и в любое время, не спрашивая ни возраст, ни паспорт. Мы брали только самое дешёвое, с отвратительным вкусом и запахом — отец называл его “подкрашенный спирт”. Странно, но раньше мне нравился и вкус, и запах, а сейчас, когда этот запах стоит во всей квартире, у меня от него начинает кружиться голова.

Бутылка пива не начатая, закрытая. Я решаю спрятать её вместе с остальными вещами. На всякий случай. Если отцу будет совсем плохо, то спасти его может только алкоголь. Вот такая странная закономерность, которую невозможно объяснить с помощью логики. Чтобы не умереть, нужно выпить. Но выпьешь — умрёшь. А выдержать нужно что-то одно и быстро.

Далее надо найти и убрать ключи от квартиры и деньги. Деньги мне сейчас очень нужны. У меня на карточке оставалось всего несколько тысяч. Ключи я нахожу быстро в куртке отца, висящей в коридоре на крючке. А денег нигде нет. Если отец уже успел пропить все деньги, то... Но я всё-таки нахожу — они спрятаны в ящике, где лежит всякая мелочёвка и кремы для обуви. Денег оказалось немного — двадцать тысяч наличными. Это примерно половина зарплат. Значит, другую половину он либо уже пропил, либо оставил на карточке.

Ключи и деньги я забираю себе в карман джинсов, а всё остальное упаковываю в пакет и складываю на крышу. Отец точно не догадается ничего искать там. Теперь нужно успеть сходить в магазин и что-нибудь приготовить — в холодильнике только хлеб, слипшиеся сваренные пельмени и майонез.

Один из первых больших магазинов в городе — супермаркет “Макси” — находится через дорогу. Он открылся как раз перед моим отъездом.

В Москве пугали тем, что скоро опустеют магазины. Мы с Сашей не верили — как в Москве могут опустеть магазины? Но в середине марта поехали в “Метро”, и я видела своими глазами полупустые полки. “Прям как в 90-е”, — говорили вокруг. 90-е я не знала — я родилась в 2000-м. И на моей памяти полки магазинов всегда были полные.

Мне было дико смотреть на остатки консервов, которые тут же кто-то хватал. Мы с Сашей, захваченные общим паническим настроением, соскребли с полок всё, что там оставалось. Люди шли к кассе с переполненными тележками, казалось, что они действительно, как советовали в интернете, собираются сидеть дома, пока не закончится карантин. Смели всё — крупы, консервы, мыло, туалетную бумагу. Интернет тут же наполнился мемами про пустые полки и людей, нагруженных бумагой и гречкой. Мы тоже заполнили тележку с верхом. Мне хотелось слиться с толпой, стать такой же, как все эти люди, и ждать вместе то ли конца света, то ли массового вымирания, то ли биологической войны. Но страшно не было — со мной Саша.

Наш “Макси” название своё не оправдал — полки опустели. И с трудом заполняю маленькую корзинку макаронами, хлебом, консервированной рыбой, туалетной бумагой и прочими припасами, за которые буквально приходится бороться. Делаю фото и чуть было по инерции не отправляю Саше, но в последний момент спохватываюсь. Вот только теперь понимаю — я решила остаться в пустом городе с отцом, который так не вовремя ушел в запой. Одна.

Бабушка рассказывала, как они жили сразу после войны — она родилась в 41-м. Как её мама, когда варила картошку, отдавала ей целую, а сама пила воду, в которой картошка варилась, называя эту муть “суп”. Как разрезала на две половинки яйцо, и одну половинку клала на платочек перед своей дочерью, а вторую половинку заворачивала на завтра.

— А тебе? — спрашивала бабушка.

— Я уже ела другое.

Только когда бабушка выросла, а её мамы не стало, она поняла, что никакого другого яйца не было.

Потом уже мама рассказывала про конец 80-х. Ей тогда не было ещё двадцати. “Покупать нечего, — говорила мама, — из магазинов исчезло всё”. Мама заваривала себе ложку зерна, всё равно какого — какое нахо-

дила дома — и пила этот раствор утром, днем и вечером. Выживали те, у кого была дача или деревня. Маминому отцу от завода выделили землю под картошку. У многих и этого не было.

Я ещё раз прохожусь по всему магазину и кладу в корзину дополнительно горкой тушёнку и консервированную сайру. Времени остаётся мало. Я плачу деньгами отца, беру два больших пакета и спешу домой.

Дома пока тихо. Я чувствую, что уже очень устала. Больше всего на свете мне хочется сейчас вот так же напиться, как отец, лечь спать и ни о чём не думать, но я не могу себе этого позволить. Я разбираю продукты, складываю их на знакомые полки, затем наливаю себе растворимый кофе из банки и сажусь на старый кухонный диванчик. Как давно здесь не было ремонта. Последний раз отец его делал, когда мне было десять лет. Он во время отпуска подрабатывал евроремонтами, которые становились у нас очень модными. Люди ездили работать в Москву, а возвращались с большими для нашего города деньгами, строили дома, делали квартиры, обустроивали офисы. Отец быстро понял, что на этом можно заработать. И если бы не пропивал в свой очередной запой почти всё, что зарабатывал, то мог бы купить новую машину или перестроить дом в деревне. Но деньги в руках отца не задерживались. Иногда мама успевала вытащить из отцовского кошелька евро и доллары, но чаще всего он спускал всё за несколько недель.

Ремонты отец делал хорошо. Научился от своего отца — настоящего плотника. Тот мог построить дом даже в одиночку. За пару дней ставил забор. Деда я не видела — он умер до моего рождения — но отец часто его вспоминал. Как они вместе обрабатывали дерево, и отец знал, что из грубой древесины можно сделать не только табуретку, но и стол, комод, шкаф, различные фигурки, кораблики. Он всегда злился, когда мы с мамой покупали мебель:

— Да за такие деньги я бы из настоящего дуба, а не из этой стружки сделал шкаф.

Отец любил дерево и хотел пойти учиться в колледж при фанерно-мебельном комбинате. Но тогда на комбинате пошли сокращения, поговаривали, что его вот-вот закроют, и отец поступил в металлургический колледж, хотя никогда не любил металл.

Именно там, с мужиками, которые возвращались после смены, он впервые начал пить. Бросил, когда познакомился с моей мамой. Много работал — выходил по две смены подряд. Купил подержанную машину и в выходные, вместо выпивки, бомбил по городу. Родилась я.

Второй раз он запил, когда я училась в начальной школе. Тогда на город свалился очередной кризис, и несколько цехов сократили. В том числе цех, в котором работал отец. Полгода он сидел дома. Тогда его не могла остановить даже мама. В нём как будто что-то сломалось. Он лежал в своей комнате, сутками смотрел телевизор, включая его так громко, что соседи стучали по батарее. Ругался то ли на себя, то ли на кого-то по ту сторону экрана, грозил кулаками, и я боялась, что он разобьёт телевизор.

— Я должен был стать начальником цеха, — кричал отец. — А что они со мной сделали? Выкинули, как щенка. Что они все сделали? Все!

Остановился он только потому, что комбинат снова заработал в полном режиме, а отец боялся окончательно потерять работу.

Но с тех пор пил каждый отпуск. Жизнь его стала чередой запоев и выходов из них. А моя жизнь превратилась в ожидание того, что отец снова запьёт. Больше всего я боялась, что это произойдёт в самый неподходящий момент — на мой день рождения, на Новый год, когда ко мне придут друзья, когда мама уйдёт на работу в ночь, когда я буду в квартире одна. И отец запивал именно в эти самые моменты. Каждый раз, когда я открывала входную дверь, я медлила, сначала вслушиваясь и принохиваясь — не слышно ли орущий телевизор или не чувствуется ли сладкий резкий запах дешёвого вина? И только потом заходила.

— К войне готовишься? — отец входит в кухню и видит, как я распахиваю запасы.

Я замечаю, как он сразу бросает взгляд на пол около мойки.

— А где? — спрашивает.

— Можешь не искать, — отвечаю я.

— Выпила?

— Выпила.

— Ну, для тебя не жалко. — Его голос дрогнул. Кажется, только сейчас до него начало доходить, что алкоголя в квартире больше нет. — Я что-то свои ключи не могу найти. И деньги. Не видела?

— Не видела.

Отец стоит, смотрит как меня, но как будто всё ещё не верит, что я действительно приехала. Наверное, ему кажется, что я сейчас исчезну, и он останется один со своими бутылками, пустым холодильником и затуманенной головой. Я оборачиваюсь на него, он сейчас кажется слишком худым и таким невысоким, что становится странно, как он вообще мог понравиться маме? Неужели она, всю жизнь проработав на железной дороге среди мужиков, не могла найти никого получше? Что было в нём, чего не было в других, высоких, красивых и непьющих?

Отец уходит в коридор, долго что-то там ищет, гремит ящиками, перевешивает куртки, скорее всего, лазает по карманам моей.

— Где мои ключи? — Он возвращается обратно.

— Сказала — не знаю. Нет их. Выбросила вместе с твоими бутылками.

— И деньги тоже?

— И деньги.

— Не ты заработала — не тебе и тратить.

— Толку от твоих денег — ты их всё равно пропьёшь.

— А это тебя не должно волновать. Хочу — пропью. Хочу — в туалет спущу. Это мои деньги. И ключи мои.

— А всё это, — я со злости начинаю открывать и закрывать ящики, хлопая дверцами, — на что я должна покупать? Приезжаю — дома шаром покати.

— А кто тебя просил приезжать? Тебя не было, нормально жил. Тут явилась. Вали обратно в Москву. Деньги и ключи на стол положи и сваливай.

— А это я сама решу, когда и куда мне сваливать. А ты пока не зашлёшься — не получишь ничего.

Отец опять уходит, зачем-то одевается, обувается и возвращается.

— Я тебе по-русски говорю — ключи верни.

— Да мне хоть по-французски. Сказала — нет. Ты сидишь дома. Все. Закружи этот вопрос.

Я слышу, как он заходит в мою комнату. Но там он тоже ничего не найдёт.

— Слушай, Яр, а ты чего вообще приехала? — спрашивает уже спокойнее и как-то ласково. Подлизывается. А сам стоит жалкий и страшный. — Случилось чего?

— Случилось. Только не со мной.

— А с кем?

— С тобой.

— У меня всё кирпично-отлично, — смеется.

Но от этого я злюсь ещё больше. Отец сейчас может думать только об одном — как выпить. Ничего его больше не волнует. Ни я, ни мои проблемы.

— Я сказала, не будет тебе ни ключей, ни денег. Можешь не искать. Выбросила в помойку вместе с твоими бутылками! Ройся иди, как бомжара. Там тебя твои собутыльники встретят. Напоят и накормят.

Отец уходит к себе, хлопает дверью, потом выходит и начинает заново. Ищет по всему дому — ключи, деньги, бутылки. Я замечаю, каким он стал хилым — сгорбленная спина, впалый живот, ноги, когда-то сильные, теперь полусогнутые, руки дрожат. Он садится на корточки, достаёт сигареты и закуривает.

— Яра, плохо мне. Мне бы выпить, — просит он тихо, заискивающе.

— Есть вода, чай, кофе... — начинаю я. — Кофу могу купить.

Отец встает, зло бросает недокуренную сигарету в раковину, берёт новую.

— Мне плохо, понимаешь? Ты знаешь, как бывает плохо? У меня всё внутри выворачивает. Всё нутро.

— Пить не надо было, — говорю я уже мягче. — Завтра я врача вызову. Они к пьяному не поедут. Надо, чтобы немного отпустило. До завтра терпи. Протрезвеешь — тебе капельницу поставят, лекарства дадут.

— Да не надо мне врача, — перебивает отец. — Мне два глотка, и всё — буду как человек. Я и сам хочу остановиться. Сегодня последний раз. Завтра уже всё — ни капли.

Я невольно ухмыляюсь. Слышала все эти обещания много раз.

— Нет, — говорю я, — ты больше пить не будешь. Ты не выйдешь из дома, пока не зашьёшься. Я не мама — я это терпеть не буду.

На этот раз из кухни ухожу я. Отец всё так же сидит на корточках, затягивается сигаретой, которая дрожит в его руках. Я знаю, ему страшно и плохо. Но мне тоже страшно и плохо. Это то, что нас сближает. Сейчас мне кажется, единственное.

Первая часть названия моего города происходит от слова “череп”, что означает “холм”, а вторая “весь” — “деревня”. Получается — деревня на холме. Это как нельзя лучше характеризует мой город, который стоит на возвышенности, обдувается со всех сторон ветрами, а снизу омывается водой. Наверное, поэтому в первый год войны здесь стали строить металлургический завод, переросший потом в комбинат, а затем в холдинг “Северсталь”. Мне нравится название с двумя “с”, которые словно усиливают стальной привкус. Если повторять это название много раз, то начинает слышаться стук колес — “сталь, сталь, сталь”. Дракон, лежащий на одной лапе, готовый в любой момент расправить тяжёлые крылья.

Почти все в городе связаны с комбинатом. Кто-то учился на литейщика или технолога, кто-то плавил металл в цехах, кто-то готовил, убирал, развозил. Этот комбинат занимал площадь целого маленького европейского города, и, чтобы попасть из одного цеха в другой, ездили на автобусах. Это был целый мир, который каждый день принимал в себя новых людей.

Наша семья не исключение. Бабушка по отцовской линии работала на проходной. По линии мамы — бухгалтером. Оба деда литейщики. Только мама всю жизнь проработала медсестрой в железнодорожном депо.

Когда я ездил мимо гиганта, я всё время видела дым, вырывающийся из печей. Я почему-то боялась, что вместе с этим дымом вырвется что-то страшное. Отец рассказывал, что особенно жутко было после Чернобыльской аварии — все думали, что однажды и здесь рванёт. В тот год отец как раз окончил школу.

— Почему ты не уехал? — спрашивала я.

— А куда?

— В Москву, — я пожимала плечами.

— Но не всем же в Москву ехать. Кто-то и здесь должен жить, — отвечал отец. — К тому же, если рванёт, то слышно будет и в Москве, и в Питере.

Мне нравилось слово “литейщик”. В детстве я представляла себе высоких сильных людей, которые голыми руками управляют с кипящим металлом. Но когда я смотрела на отца, невысокого, щуплого, разве что со стальными мышцами на руках, то удивлялась — какой же из него литейщик?

Ни отец, ни оба деда не прошли по возрасту в ликвидаторы Чернобыльской аварии. Отцу было всего семнадцать, дедам — за сорок. Брели в первую очередь молодых тридцатипятилетних с идеальным здоровьем и минимум двумя детьми. Наверное, потому что зачать ребенка после работы там уже невозможно. Я спрашивала у отца: “А если ликвидатор вернулся невредимым, захотел третьего ребенка или четвёртого, то что?”

— Да были у них потом дети, — отвечал отец, — жизнь-то продолжалась. Кто-то ещё лет десять-двадцать после аварии прожил.

— Так мало?

— А что ты хочешь? Радиация. Думаешь, у нас тут лучше? Да я на заводе больше двадцати лет. Уже сам светиться должен. Нет, ну кто-то из ликвидаторов жив до сих пор. Половина точно.

Вообще, слава о моем городе ходила сомнительная — суровый рабочий мир. В городе даже доплачивают районный коэффициент за жизнь в тяжёлых условиях. К тому же большой процент жителей занимают потомки заключённых, условно освобождённых для строительства химических заводов. Их так и называли — “химики”. Они оседали в городе, заводили семьи. Деды некоторых моих одноклассниц были такими “химиками”. Поэтому отец наш город иногда называл “бандитским”, хотя, когда я видела этих дедов, приходивших в школу забирать своих внуков или внучек, ничего бандитского в них не замечала. Но клеймо — есть клеймо. Иногда отец говорил про ту или иную мою школьную подругу — “это та, у которой дед-то химик? Ну тогда понятно, откуда у неё такие замашки”.

В начальной школе я дружила с одной девочкой. Она научила меня главному, что, как ей казалось, я должна уметь делать в этой жизни — правильно собирать и курить бычки.

— Этот не бери, — учила она, — видишь, скурено до фильтра? Там тянуть нечего. Бери тот, где есть тяга.

Меня удивляло и то, что она знала такие слова, о которых я и понятия не имела, и то, как она рассудительно говорила — совсем как взрослая. Мы опаливали зажигалкой бычок с обеих сторон — подружка уверяла, что так все микробы и бактерии убиваются — и курили. Правильно курить я ещё не умела, поэтому дым валил обратно изо рта.

— Говори “а”, — учила она, — и вдыхай. Потом “птека” и выдыхай.

Наша дружба прекратилась, когда моя мама увидела картину — мы сидим на детской площадке и подбираем с земли окурки. А отец тогда сказал, пожав плечам, “нашла, с кем гулять, у неё же дед химик”.

Отец любил навешивать на людей ярлыки — этот алкаш, этот бандит, этот барыга. Если его послушать, то хороших людей на свете нет.

Во время войны город служил эвакуационным пунктом, принимал тех, кто уезжал от войны подальше. Многие остались — уезжать некуда. Город стал расти очень быстро, распухал от людей, приезжавших на завод, на стройку, на работу. Вырастали дома — серого цвета панельные пяти- и девятиэтажки, в которых очень быстро стали появляться трещины по всему корпусу, точно шрамы. Строились эти дома как временное жильё, но стоят, как и знаменитые хрущевки, до сих пор. Среди них — мой дом.

Отец не спит всю ночь. Ходит как зомби по квартире, повторяет одно и то же:

— Плохо мне, Яра. Сдохну сейчас. Налей хоть стакан.

Я то выхожу к нему на кухню, то сижу у себя в комнате, то запираюсь в ванной, когда становится совсем тяжело. Включаю воду и делаю вид, что стою в душе. Отец стучит так сильно, что я боюсь, как бы он не вынес дверь.

В школе я оставалась с ним ночью дома одна, когда мама уходила на работу. Он точно так же метался из угла в угол, долбился в двери, если я их закрывала, просил вышить. Под утро он уже не мог ходить — ноги не держали — но продолжал просить. Иногда я не выдерживала. Надевала черную толстовку, закрывалась капюшоном и спускалась в магазин. Брала бутылку самого дешевого крепкого пива, в которое, как говорили у нас, подмешивают димедрол, чтобы вызвать привыкание, шла к кассе, ставила её на прилавок, клала рядом деньги и не ждала сдачу. Мне было стыдно и хотелось быстрее уйти. Продавщица, которая знала всех местных алкоголиков и членов их семей, молча и быстро убирала деньги. Я прятала бутылку в рукав широкой толстовки и возвращалась домой.

Когда мама приходила с дежурства, она всё понимала моментально, но ни разу не ругала меня — выдержать ночные хождения отца почти невозможно. Тогда она брала несколько дней за свой счёт, отправляла меня к бабушке, а сама сидела с отцом. Не знаю, как она справлялась с ним.

Сейчас справиться должна я, а мне кажется, что время почти не движется. Уже под утро отец, бледный, с тёмно-синими разводами вокруг глаз, садится на пол рядом с моей дверью, пытается закурить, но руки не слушаются, и сигарета падает на пол рядом с ним. Я наступаю на неё ногой, чтобы она не дымилась.

— Яр, всё, плохо мне. Вызови скорую.

— Скорая к тебе не поедет. Давай нарколога. Ты подпишешь согласие?

— А лучше налей. Ты не понимаешь. Подохну сейчас.

Набираю в Яндекс — “вызов нарколога на дом”. Объявлений много. Обещают анонимность и быстроту. Только гарантию не обещают — почти все начинают пить снова.

— Вызываю?

Отец мычит и качает головой. Без его согласия даже капельницу не поставят. Он сидит на полу, обхватив колени, и монотонно шатается. Его зубы стучат, как от холода.

Мы с ним уже сидели так, когда не стало мамы. Я училась в одиннадцатом классе, через несколько дней должен был начаться Новый год. Мамы не было уже четыре месяца. Наша жизнь с отцом, поменявшаяся так страшно в конце лета, только начала налаживаться. Мы привыкали жить вдвоём. Я, наконец, перестала варить одни пельмени и жарить рыбные палочки, принесла домой курицу и картошку. Целую курицу и целый пакет картошки. Всё помыла, разогрела духовку, натёрла курицу остатками приправ, какие мама покупала в катастрофических количествах, положила курицу в духовку — целиком, не разрезая. Почистила и поставила вариться картошку. Отец пришёл вечером, а на столе стояла целая гора варёной картошки и курица.

— Куда так много? — спросил он удивлённо.

— Новый год скоро, — пожала я плечами.

Отец сел на диванчик, взял вилку и поковырял мою курицу. Я ничего не сказала, а мама обязательно бы сделала замечание — “возьми тарелку, что ты ешь из общей, как безоблюдник”.

— Не нравится? — спросила я.

Отец ничего не ответил. Не доел, встал и ушёл к себе в комнату. А на следующий день пришёл с работы пьяный. Я уже с порога почувствовала знакомый запах, который заползал медленно, но уверенно, чтобы на долгое время стать главой в нашем доме.

Отец тогда пил все праздники. Я даже не пыталась его остановить. Он ходил по квартире, как привидение, гремел посудой, бутылками, всё время включал воду и забывал её выключить. Без конца курил, и я боялась, что он уснёт с сигаретой и сожжёт квартиру.

Потом он зачем-то перенёс елку из своей комнаты в мою, по пути её уронив, разбив игрушки. Стоял страшный грохот, и я думала, что придут соседи. Но никто не пришёл. В праздники никого не удивлял ни шум, ни крики, ни ругань, ни громкая музыка.

На сам Новый год я заперла комнату и вылезла в окно на козырек. Я впервые по-настоящему боялась отца. Боялась и ненавидела. Не только потому, что больше не было мамы, которая могла хоть что-то сделать, а потому, что отец сам не знал, зачем и ради кого ему останавливаться. Наверное, тогда я окончательно решила уехать от него. А отец повторял одно и то же всё время своего запоя:

— Я остался один. Никого нет. Мать, отец, братья, жена — никого. Ты не понимаешь меня. Никогда не поймёшь.

Он стоял напротив меня в брюках и тёплом свитере, потому что всё время мёрз то ли от своего алкоголя, то ли от того, что зачем-то открывал все окна в доме и забывал закрывать. Дул сильный ледяной ветер, и квартира промерзала мгновенно. Отец развернулся и ушёл на улицу в тех же брюках и свитере. Без тёплого пуховика, который мы покупали ему с мамой несколько лет назад. Я была уверена, что он больше не вернётся домой. Замёрзнет где-нибудь по дороге, и я действительно останусь одна. Я открыла холодильник и нашла остатки той самой курицы, которую делала перед Новым годом. Она уже была резиновая, но все равно казалась вкусной. Я доела её, оделась и пошла искать отца. Мороз в тот год был такой, что ноги, несмотря на тёплые ботинки, шерстяные носки и специальные стельки, тут же промерзли. Пальцы онемели уже через полчаса. Я обошла знакомые магазины, куда мог бы пойти отец, дворы, где он мог бы сидеть, дороги, где он мог бы валяться. Но его нигде не было. Телефон он с собой не взял.

Я прошла ещё раз везде и вернулась домой. Отец уже спал. Новых бутлок не было. Через неделю он уже стоял на кухне абсолютно трезвый и варил пельмени.

На столе лежали таблетки без упаковки.

— Давай котлеты пожарю, — предложила я.

— Пожарь.

Я достала сковородку.

— Что это? — я кивнула на таблетки.

— Это мои. Не трогай.

— Кто тебе их дал?

— Врач.

До самого моего отъезда отец больше не пил. Но я всё равно тогда уехала.

Я смотрю на отца уже три дня. Злость и агрессия сменились апатией, и он теперь требует, чтобы я сидела около, слушала его, смотрела вместе с ним телевизор. Голова у него затуманивается, и мне приходится постоянно напоминать, какое сегодня число, месяц, что я делаю в городе, окончила ли я школу. Умерших он пока не видит, но всё время вспоминает дядю Володю — старшего брата, который умер пять лет назад.

Жизнь у того была совсем беспутная, как говорила мама. Женился после сорока лет на тихой спокойной тридцатилетней женщине, которая за всё время, что я её видела, не проронила ни слова. Мама говорила, что он её бил — несильно, но до синяков. У них родился сын, но родился с пороком сердца, а потому очень болезненный и слабый. Дядя Володя, привыкший, как и мой отец, к строгости, пытался воспитывать сына как настоящего спартамца — заставлял того бегать, закаливал обливанием холодной водой, кричал на него, если тот не может сделать какое-то упражнение. Мне запомнились его бледно-синие всегда дрожащие губы, как будто он силился что-то сказать, но не мог. Он мне напоминал мальчика из рассказа Достоевского, который мы как раз читали в школе. Бледный, униженный, больной, которому ради забавы пьяные мужики вливают в рот вместо воды или молока водку. Мама говорила, что он такой бледный из-за сердца. Я удивлялась, почему в наше время нельзя его вылечить? Ведь сейчас есть разные лекарства, можно сделать операцию, да хоть новое сердце пересадить. Но Алёшу — так его звали — никто особо не лечил. Его даже в Москву не возили, хотя мама говорила, что не могут вылечить у нас, можно вылечить в Москве. Ну хотя бы попытаться.

Он умер, так и не сказав того важного слова, что силился выговорить, не научившись бегать так же быстро, как другие мальчики, и, возможно, не научившись толком читать. Я пыталась понять, зачем он жил, зачем родился? Когда он умер, я поняла, что не хочу жить по законам моего города, где выживает только сильный, только тот, кто может пахать сутками на заводе или пить литрами и не пьянеть. Эти законы мой город мог оставить себе. Мне нужны были другие.

Дядя Володя пил всегда, а после смерти Алёши стал пить ещё сильнее. Прогуливал работу, приходил на завод пьяным. Его уволили. Жена пила вместе с ним, чтобы, как она говорила, ему меньше досталось. Она умерла так же тихо и незаметно, как и жила. Через пару лет после смерти своего единственного сына. А потом умер и сам дядя Володя. От туберкулеза. Даже не разрешили похоронить тело — его пришлось кремировать. Как будто он был болен этим страшным вирусом, что гуляет сейчас. Мне кажется, отец больше, чем кого бы то ни было, любил своего брата. Мужиков в семье не осталось, а отцу тяжело среди женщин. Что мы могли понять в жизни? О чём с нами можно говорить? Может, если бы у отца родился сын, ему стало бы немного легче. Но, кроме меня и мамы, никого больше не было.

Кофе отец пьёт в страшных количествах. От кофе у него хоть немного, но проясняется голова, и тогда он вспоминает всё, что с ним произошло за это время. Я смогла от него добыть только того, что цех, в котором он работал, закрыли вместе с несколькими другими, и он, оставшись временно без работы, немного выпил. За этим “немного” последовало ещё. Потом ещё. А потом он сбился со счёта.

— Почему ты не позвонил? — спрашиваю я.

— А что звонить-то? — спрашивает он в ответ.

Я и сама ни разу за два года не позвонила ему. Но это не только моя вина. Ни семнадцать лет, проведённые в одной квартире, ни уход мамы, ни мой отъезд не сблизили нас. Иногда мне кажется, что это не мой отец, что мы совершенно разные, и между нами вообще нет ничего общего, как будто он меня удочерил. Удивительно, как можно столько лет провести вместе, но при этом совершенно ничего друг о друге не знать.

Отец даже толком не знает, где я учусь, где живу, с кем сплю. И я ничего не знаю о нём. Я даже не знала, что его перевели из цеха, в котором он проработал двадцать лет, в другой, что он успел уже поругаться с новым начальником, что у него появилась какая-то женщина, и эта женщина уже пятый день звонит ему, а я всё не могу набраться смелости и ответить на звонок.

Единственный человек, к кому я могу здесь пойти, — Иринка. Точнее, Ирина Валерьевна, моя учительница литературы в школе. Я неуверенно набираю её номер.

— Это Яра. Я в городе, — сообщаю я коротко, словно мы расстались на днях.

Страшно — вдруг она скажет, что карантин, никуда не выходит и никого к себе не пускает, но она отвечает так же коротко:

— Я дома. Заезжай ко мне.

Ирина Валерьевна живёт в центре города, рядом с бывшим Советским проспектом. Ехать на автобусе нужно через весь город — пустой и страшный. Только сейчас я могу полностью рассмотреть его. На дорогах висят плакаты, какими заполнена Москва — “Оставайтесь дома”, “Дома безопасней”, “Не выходите на улицу”. Но в Москве это выглядит не так жутко. Я вспоминаю, что не мыла руки уже очень давно, и неожиданно жалею, что сейчас не зима и поэтому я не ношу перчатки. Я чувствую себя совершенно голой и незащищённой. Выхожу за несколько домов от Иринки, чтобы снять маску, пройтись пешком, подышать улицей и прийти в себя.

Дома в Центре не такие, как в Заречье. Построены ещё до революции, маленькие — всего в два-три этажа. Кирпичные. Очень аккуратные. Отец говорил, что раньше в домах жили зажиточные люди — купцы или дворяне. Потом их раскулачивали, из бывших передних или снalen делали коммуналки, а потом обратно из бывших коммуналок строили новые квартиры.

Лифта нет — я поднимаюсь пешком. Дверь в одну из квартир приоткрыта.

— Ставь рюкзак, мой руки и проходи. Я уже чай поставила, — Иринка командует так же, как на уроке — “убираем со стола всё лишнее, открываем тетради, пишем число, классная работа, тема урока”. — Да не бойся. Я одна.

Она достаёт из холодильника хлеб, сыр, колбасу — то, что обычно едят здесь. Нарезает всё это и кладёт красиво на тарелки. Достаёт две чашки, наливает чай и садится напротив меня.

— Надолго? — спрашивает.

— На пару недель. А там посмотрим.

Я смотрю на неё какое-то время, и вдруг всё начинает расплываться — она, кухня, окно, обои. Я не замечаю, как начинаю плакать. Даже не плакать, а реветь. Безобразно, не сдерживаясь.

Так я не ревела никогда. Даже когда мамы не стало. Тогда я вообще не плакала. Может, потому что успела подготовиться, хотя не уверена, что к этому вообще можно подготовиться. Помню, мы весь месяц смотрели с отцом какие-то дурацкие американские комедии — то смеялись, то плакали. Лежали вместе на его кровати — я не могла спать одна. Крутили нон-стопом фильмы на компьютере, только чтобы не было тихо. Тишина казалась страшнее чужого монотонного жужжания. Я до сих пор благодарна отцу — он взял на себя все хлопоты и не шёл. Ни на похороны, ни на поминки, ни на девять дней, ни на сорок. Вообще. Ни капли. До самого Нового года.

Чайник пронзительно свистит — я отвыкла от таких свистков, вздрагиваю, миг успокаиваюсь и рассказываю всё. И про Сашу, и про отца. Почти всё. Выпаливаю за минуту то, что собиралась говорить пару часов.

Ирина Валерьевна слушает, не перебивая. Как привыкла на уроках. А потом спрашивает:

— Ты когда спала-то последний раз?

Я не ответила.

— Значит, слушай. Сейчас ты поешь. Выпьешь чай, — она пододвигает мне тарелку и чашку. — Потом ляжешь спать. А потом мы ещё раз поговорим. Хорошо?

Я киваю, беру бутерброд и понимаю, что это первая еда со вчерашнего вечера, не считая кофе, который я хлещу вместе с отцом. Через час я уже лежу на её разложенном диване. Удивительно, как всё в моей жизни изменилось, хотя прошло не так много времени — кажется, мы вчера ездили вместе в соседний район на олимпиаду, и она ждала меня четыре часа, пока я пыталась написать хоть что-то. Теперь я лежу на её диване в её квартире, а она моет за мной чашку.

Спать вроде не хочется, но как только я закрыла глаза, всё тут же затуманилось — и поезд, и отец, и комната, и город, и Москва, и Саша. Всё поблекло, как акварельные краски, если разбавить их водой.

Я закрываю глаза и вспоминаю, как мама всегда говорила, если мы спали не дома — “на новом месте приснишь жених невесте”. Саша мне не снился ни разу.

Солнце пробивается сквозь оранжевые шторы и плотное одеяло. Упрямое солнце, которое не боится препятствий. В моём городе редко бывает вот так солнечно, когда без тёмных очков на улицу не выйдешь. Я откидываю одеяло, осматриваюсь вокруг и вспоминаю, что оказалась в доме Ирины Валерьевны.

Спокойная, молчаливая, она пришла к нам в десятом классе и была не похожа на других учителей. Ходила в строгих костюмах и платьях, на каблуках, держалась гордо в абсолютно любой ситуации. Это так непривычно для нашего города. Люди у нас, даже учителя, довольно простые, грубые. Они громко разговаривают, даже если в классе тихо и повышать голос не нужно, говорят односложно, отрывисто, точно им тяжело формулировать свою мысль длинными распространёнными предложениями. Иринка же всегда говорила тихо, витиевато так, что мы не всегда её понимали, но слушали. По крайней мере, я. И она умела сдерживать любые свои эмоции, какими бы сильными они ни были.

Даже её фамилия, Воскресенская, одинаковая с названием проспекта в центре города, казалась не из нашего мира.

Первым заданием нашей новой учительницы было сочинение “Мой кумир”. Писать разрешили о ком угодно. То время ещё совпало с новым запоем моего отца, поэтому в квартире у нас не замолкал Цой, Шевчук, Бутусов и саундтрек к фильму “Брат”. Отец, когда был весело-пьян, слушал их и пересматривал фильмы, которые смотрел в молодости. Я вместе с ним слушала русский рок. И даже полюбила, как любят то, к чему невольно привыкаешь. Все те песни мне нравятся до сих пор. Особенно Башлачёв, который родился в моём городе. Сочинение я писала именно о нём.

Его музей — крохотную комнатку — открыли в местной библиотеке. Из экспонатов на стене музея висела одна гитара, на которой, по легенде, он и играл. По углам развешаны плакаты столетней давности, но зато сотрудники знали о Башлачёве всё и даже утверждали, что видели его лично. Дома у нас на стене в коридоре висел плакат с ним — конечно, отцовский. Плакат чёрно-белый, но мне он нравился больше, чем яркий, режущий глаз глянец журнала “Ooops”, который покупала Лизка. Отцовский плакат передавал дух того времени, когда цветные фотоаппараты были редкостью, а телефонов, интернета и многого всего, без чего сейчас невозможно представить жизнь, не было вообще. Башлачёв смотрел грустно и серьёзно, словно знал, что его жизнь будет короткой, но она изменит многое и многих.

Я писала сочинение и думала о том, что был человек, который родился в моём ветреном городе, вырос здесь и начал писать стихи. Так странно, что кто-то не пошёл после школы в техникум, чтобы потом оказаться в горячем цеху. Значит, можно вырваться, выбрать другую жизнь — не ту, что навязывает тебе город. Наверное, именно тогда у меня зародилась мысль о том, что можно пойти не тем путём, каким идут все, что есть другой, только тебе предназначенный. И самое сложное — встать на него, а не брести в толпе туда, куда все, как в метро в час пик, когда идёшь по переполненному перрону и не можешь ни свернуть, ни уйти. Так и идёшь, подчиняясь воле толпы, точно у тебя у самого нет ни своих мыслей, ни своих желаний.

В конце десятого класса мы с Иринкой сблизились — много разговаривали между подготовками к проектам, когда она отвозила меня на городской этап олимпиады по литературе, когда спорили о стихах и личности Блока, когда она, а не отец, провожала меня домой после выпускного вечера. Но говорили мы не только о литературе. Она знала, что у меня два года тяжело болела мама, и часто просто обнимала меня, не утешая, потому что утешать было бы так же бессмысленно, как и говорить, что она поправится.

Комната, в которой я так неожиданно уснула и проснулась, небольшая, даже без балкона. Одно окно освещает её всю — круглый громоздкий стол, телевизор, кресла и книги. Море книг. Больше в комнате ничего нет — ни каких-нибудь фигурок, которые обычно привозят из путешествий, ни вазочек и статуэток, какие любят женщины.

Сашина комната совершенно другая, заваленная вещами, китайскими сувенирами, спортивными дипломами. Книг у него почти нет. Разве что про оружие — Саша профессионально занимается стрелковым спортом. И ещё те, которые покупаю я. Каждый месяц я стабильно приношу одну книгу. Как-то я посчитала — набралось двенадцать книг. Значит, мы знакомы с Сашей год. Сам он почти не читает, только свои книги по стрельбе. Я же читаю всё время. Сразу несколько книг одновременно, оставляя их везде — на кухне одна, в комнате другая, в ванной третья, в телефоне четвёртая. Саша удивляется — как можно читать несколько книг одновременно? Ведь так ничего не запомнишь. Но я запоминала.

Я встаю, натягиваю джинсы, свитер и выползаю на кухню. Сейчас я, наверное, похожа на своего отца, сонная и растрепанная. Разве что руки не дрожат.

— Пospала? — спрашивает Иринка.

Я киваю.

— Ну и хорошо. Садись. Покормлю тебя.

Я опять сажусь на её кухне и только сейчас чувствую запах сигарет. Застарелый, въевшийся в обои, мебель, посуду. Такой же, как у нас дома. Его уже не вытравить ничем. И обои, когда-то белые, чистые, теперь пожелтевшие.

— Муж курит, — замечает мой взгляд Иринка.

— Мой отец тоже. Мама всё время ругалась. Говорила, что всю квартиру прокурил. А я особо не замечаю.

Чай очень горячий. Обычно я такой не пью, а разбавляю холодным молоком или водой. Но сейчас, в городе, где завывает ветер, мне хочется горячего. Я пью его медленно, пока Иринка мешает картошку в сковородке. Я отвыкла от запаха жареной картошки. Сама я никогда её не делаю. Мне лень чистить, резать, потом разогревать сковородку, наливать масло, начинающее тут же шипеть. Гораздо проще сделать макароны или пельмени. В крайнем случае, я могу сварить её целиком в мундире. Поэтому жареную картошку я последний раз ела, когда её готовила мама.

В моём городе картошку варят чаще, чем макароны. Во-первых, она растёт у многих на огороде, а во-вторых, её дешево продают мешками. Такие мешки в каждой второй квартире стоят в кладовке или на кухне. У нас дома всегда было два — с картошкой и сахаром. Черный и белый мешки. Они стояли рядом в углу кухни. На мягкий мешок с сахарным песком я любила облокачиваться, и становилось хорошо и уютно. Я помню, как ходила с мамой

покупать такие мешки с машины. К школе подъезжал большой грузовик, открывался кузов, тут же образовывалась длинная очередь. Торговали по двое — мужчина стоял наверху и спускал мешок вниз, а женщина принимала деньги. Я удивлялась — как человек в одиночку спускает с машины на землю мешок, весом пятьдесят килограммов? К тому же легко и просто.

Когда очередь подошла к нам с мамой, мужик вдруг спрыгнул вниз, сам бережно уложил наш мешок на тележку, с какой мы пришли, и то ли всерьёз, то шутя, спросил маму: “Мужика нет, что ли? Одна ходишь?”

— Есть, — ответила мама.

— Смотри — помог бы.

— Обойдусь.

Он тогда посмотрел на неё, на меня, ничего больше не сказал. Я потом спрашивала у мамы, чего он хотел. Мама не отвечала. Но образ сильного человека, который в одиночку таскает тяжёлые мешки, а потом с лёгкостью спрыгивает вниз, не выходил у меня из головы. Мне даже стало обидно, что мама не разрешила ему помочь нам, ведь тащить тяжёлый мешок, даже на тележке, непросто.

Иринка разложила картошку по двум тарелкам и положила розовые кружочки докторской колбасы. Пахнет вкусно. Я люблю запах жарёнок, которые остаются в сковородке после картошки. Мама специально соскребала их для меня.

По дороге домой я смотрю на телефон — он всё это время был на беззвучном режиме. Отец звонил пять раз.

В первую минуту кажется, что дома никого нет — настолько тихо. Я даже пугаюсь, не выбрался ли отец? Почему-то мысль о том, что он мог умереть, не приходит мне в голову. Хотя я знаю, что от запоя умирают. Я как-то гуглила — оказалось, что от алкоголизма в год умирает примерно четыреста тысяч человек. Это только подтверждённые случаи, которые вошли в официальную статистику. Внезапная остановка сердца, цирроз печени, инсульт, инфаркт, самоубийства и бытовые убийства в эти цифры не входят.

Отец сидит на кухне. Пытается выпить что-то из кружки, но руки трясутся, и он никак не может поднести её к губам. Я подсакиваю, нюхаю — вода.

— Где ты была? — спрашивает отец. — Я звонил.

— Гуляла.

— Уснуть не могу, — говорит отец. — Это самое страшное, если не можешь уснуть.

Подую ему кружку и держу, чтобы он выпил. Он послушно пьёт, его зубы стучат о края кружки. Кружка с моим именем, мне её дарила бабушка.

Отец проходит по коридору до комнаты и обратно.

— Ну не могу я! — кричит он с непонятно откуда взявшейся силой. — Дай выпить! Сдохну сейчас!

— Сдохнешь — если выпьешь.

Если он сейчас не уснёт, у меня будет ещё одна бессонная ночь.

— Знаю, что плохо, — говорю я мягче. — Но нужно потерпеть, лечь спать. Тебе нельзя пить.

Нельзя. Ничего нельзя. Только воду и спать. Спать очень много. Пить ещё больше. Выводить всё, что накопилось в организме, в душе, в жизни. Вывести с мочой, калом, потом, слюной, почистить за собой туалет, ванну, раковину и начать всё заново. И мне, и ему.

Отец мечется по квартире, как зверь, загнанный в клетку, ища выход. Даже не зверь, а таракан, если его накрыть стеклянной банкой. Он будет бегать по кругу, залезать на стены, соскальзывать с них.

Я и сама устала, у меня больше нет сил, и я действительно должна подумать о себе. А отец даже не может потерпеть пару дней.

— Люди болеют раком, сражаются на войне, рожают, терпят адские боли, а человек, который должен быть самым сильным, трясётся от того, что ему надо выпить! — Я ухожу к себе, хлопаю дверью, закрываю её на замок. Отец ломится сначала слегка, потом громче и громче. Потом подъём сменится

спадом, глаза начнут слипаться, он будет выходить из своей комнаты всё реже, потом ляжет на кровать и попытается уснуть.

Я лягу на свою и попытаюсь тоже.

После замужества мама год не могла забеременеть. Ей пришлось пройти много неприятных болезненных и страшных процедур, чтобы я появилась на свет. Отец был разочарован. Он мечтал о сыне, хотел научить его тому, что умеет сам. Прежде всего — работать с деревом.

Отец любил дерево, и у нас дома было полно заготовок. Он всё время что-то строгал, пилил, красил, обрабатывал. Пахло лаком, свежей стружкой, пылью, которая пропитывала всю квартиру и летала, светилась ярко-жёлтым на солнце. Дерево его тоже любило и подчинялось ему. Он всегда говорил, что дерево живое, что его надо уважать и правильно с ним обращаться, что неаккуратное движение — и ничего не получится, дерево перестанет слушаться. Отец приносил необтёсанные брёвна, долго в ванной их чистил, шкурил, потом рисовал по ним стамеской, словно художник по холсту. Мне нравилось собирать мягкую стружку в пакет, опускать туда руку. Становилось тепло.

В цеху отец работал только со сталью. Горячий металл, который он укрощал, подчинялся ему так же легко, как и хрупкое дерево. Но металл отец не любил. Он считал, у того нет души и он приобретает ту форму, которой подчиняется. В отличие от дерева, которое может не поддаться. Когда дерево отцу не поддавалось, он ходил хмурый и курил, почти не выпуская изо рта сигареты.

Он пытался научить работать с деревом и меня. Просил помочь ему — поддержать доску или обработать небольшое брёвнышко. Но у меня не получалось. Если я держала доску, она либо падала, либо отец обязательно вырезал криво. А если я сама обрабатывала её, то резалась, заготовка с шумом подала на кафель, прибежала мама, ругалась то на меня, то на отца, отец злился и начинал дымить ещё больше.

Единственное, что мы делали вместе — это кораблики. Отец вырезал маленькие детали, а потом мы склеивали их, пришивали паруса, мачты, и получался настоящий фрегат. Эти деревянные кораблики я ставила на полку в своей комнате. Они стоят до сих пор, потемневшие от пыли. Правда, некоторые из них разбились. Дерево, в отличие от железа, слишком хрупкое для нашего города. У нас выдерживает только металл. Дерево чужеродно. Может, поэтому отец не смог найти себя?

Удивительно, что мама вообще встретилась с отцом. Она работала на вокзале медсестрой — проверяла машинистов перед отправкой поезда. Мерила давление, пульс, температуру и просила дышать в трубочку — тестировала их на алкоголь. С отцом они встретились в обстановке, не очень подходящей для знакомства. Отцу нужны были уколы, и кто-то на заводе посоветовал ему медсестру. Если бы отец не сорвал спину, и ему не понадобился бы курс обезболивающих, они никогда бы не встретились. Возможно, у отца родился бы сын от кого-то другого, а мама так и не вышла бы замуж. И я не сидела бы здесь, с ним, в тесной квартире, в тесном городе, в стране, которая вот-вот закроется от остального мира.

Мама проработала в депо всю жизнь, и я часто приходила туда к ней. Иногда ночевала. У неё на столе ярко светила лампа, было всегда тепло, приятно гудели поезда, заходившие на ночёвку. Кабинет поделен перегородкой на две половинки — в одну приходили машинисты, а в другой стоял диван, стол, холодильник и даже небольшая электрическая плитка. Если мы ночевали вместе, то мама разбирала диван, и он занимал всю половину до самого стола. Сама мама почти не спала в ночь дежурства. Первый поезд отправлялся рано. Я лежала и смотрела в низкое окошко, всегда освещённое фонарями и фарами приближающихся поездов. У меня создавалось впечатление, что мы куда-то едем, и я незаметно засыпала под мерный стук колес и запах рельс.

Вокзал я люблю. Может быть, потому что знаю его изнутри. Мне нравятся поезда гораздо больше, чем автобусы, и даже больше, чем трамвай.

Рельсы бесконечные, по ним можно уехать куда угодно, в любую точку мира. Рельсы не могут оборваться, мне сложно представить, что поезд однажды встанет и никуда не поедет. Железная дорога и самый обычный поезд стали для меня вечным двигателем.

Когда я училась в шестом классе, мы с мамой поехали на юг. В поезде оказалось некомфортно. Грязно, душно, туалеты без конца закрывались на санитарную зону, нельзя даже умыться. Ехали мы долго, и половину пути приходилось ждать, пока откроют туалеты. Бывалые путешественники ходили в туалет заранее. А нам приходилось выстраиваться в длинную очередь. Но мне всё равно понравилось ехать. Мы были с мамой вдвоём и могли разговаривать или молчать вместе, читая каждый свою книжку. Мама — длинные романы Дюма и Стендаля. Я — короткие рассказы Брэдбери и Эдгара По. Удивительно, но за то время, пока я прочитывала всего пару коротких рассказов, мама успевала прочитать длиннющий роман.

В тот год на юг мы взяли “Человек, который смеётся”. Мама читала его вслух, когда мы сидели у моря. Роман был очень длинный, но мама читала быстро, иногда вставляя свои комментарии — “Ну разве так можно?”, “Что же это за люди?” В конце романа мама плакала. Мы дочитали его на лавочке в последний день отпуска.

— Ты чего? — спросила я.

— Уезжать не хочется, — ответила мама.

Мама часто плакала после книги или фильма. Особенно, если там про любовь. Мне кажется, маме не хватало эмоций. Отец, человек, привыкший работать с бездушным железом, эмоции не проявлял. Я не видела, чтобы он хоть раз обнял маму. Или меня. Только один раз. Когда они сильно ругались из-за чего-то, орали друг на друга, а я заперлась у себя в комнате и плакала. Он долго стучал, а когда я открыла дверь, он обнял меня и сказал, что больше они ругаться не будут. Конечно, они ругались с тех пор ещё много раз, но я помню, как крепко и неловко он пытался обхватить меня за плечи.

У нас в семье не было принято говорить о чувствах. Только о работе или учёбе. Как будто ничего другого в жизни нет. А всё, что у нас происходило помимо, мы переживали в одиночку. Никогда не садились на кухне и не обсуждали, что нас волнует на самом деле. Но другая, внутренняя, жизнь пробивалась. Её нельзя спрятать или отложить на потом. Жизнь невозможно нажать на паузу. Даже сейчас, когда весь мир, казалось, замер в ожидании, жизнь идёт — люди продолжают влюбляться, расставаться, рожать или делать аборт. И ужас жизни как раз в этом. Не в том, что она может вдруг остановиться, а в том, что она не может остановиться никогда, какие бы изменения в ней ни происходили.

Меня не покидало ощущение, что мои родители живут не здесь и сейчас, а ожиданием, что наступит завтра, и будет намного лучше, и вот тогда начнётся настоящая жизнь. Но никакого завтра так и не наступило. Мамы не стало, я окончила школу, отец всё так же пил, а потом я уехала в Москву. Всё закончилось ничем. Пустотой.

Иногда я думаю — а был ли смысл ждать? Может, стоило жить так, как нам хотелось, уже сейчас? Ездить отдыхать, купить новую кухню, сделать ремонт, пойти в кино. Ведь были деньги. Но наш город не привык жить так, как хочется. Надо от всех закрыться, спрятаться, застегнуть пальто на все пуговицы, заматывать шарфом, не выходить из дома, надеть маску, ни с кем не говорить.

Такова моя семья.

Может, поэтому меня так потянуло в Москву, где, как мне казалось, все живут свободно, одним днём, не думая о том, как, где и с кем они проснут-ся завтра.

Москва для меня началась с Казани. Так я называю главный вокзал страны — Казанский. Мне кажется, что все дороги начинаются не с нулевого километра на Красной площади, а именно отсюда.

Здесь всегдалюдно, шумно, тесно. С того самого дня, когда мы с мамой приехали в Москву на выходные, он стал моим любимым местом здесь. Мы

вышли на перрон, мама взяла меня за руку, поставила перед собой, чтобы я была на виду, и протискивалась вперёд сквозь ругань и чужие потные спины. Она не отпускала меня, пока мы не оказались в городе.

Я всегда боялась потеряться именно на Казанском вокзале. Река, во время разлива похожая на море, и леса, которыми окружён мой город, не вселяли такой страх, какой вселял вокзал. К ним я привыкла, а тут я и сама ни за что бы не отпустила маминой руки. Я держалась за неё, как за ниточку, которая должна вывести меня из подземного лабиринта, полного чудовищ. Когда я терялась и не знала, куда ехать, то садилась на кольцевую, а потом выпрыгивала на своей Новослободской, переходила на Менделеевскую и ехала до общезнания института. Или, когда уже познакомились с Сашей, до Октябрьской.

С Сашей мы познакомились в вокзальном кафе, куда я иногда заезжала после института выпить кофе. Это даже не полноценное кафе, а очень маленькое со стойкой бара вместо столиков. Стойка такая тесная, что приходилось сидеть на высоких стульях вплотную друг к другу. Саша там бывал каждый будний вечер, когда ехал с работы через Комсомольскую до Чистых прудов, чтобы перейти на Тургеневскую и спуститься вниз по рыжей ветке, к Профсоюзной, домой. Мы столкнулись за этой тесной стойкой. Как-то у меня не хватило денег, и Саша купил мне кофе. Потом я купила кофе ему — отдала долг. А потом мы поехали вместе кататься по кольцу, слушать музыку через одни беспроводные Сашины наушники. Он слушал рэп и включал мне группы, о которых я понятия не имела. Я сначала кривилась, но вдруг среди режущего слух речитатива услышала знакомое — “если нам не отдели колокол, значит, здесь — время колокольчиков”.

Я вытащила наушник:

— Это же Башлачёв.

— Кто? — Саша тоже вытащил наушник.

— Ну, поэт такой. Он в моём городе родился. Короче, крутой очень. Это на его песню перепевка.

— Скинь — послушаю.

— У меня даже книжка его есть.

Потом я доставала свои проводные наушники, вставляла их в свой “Самсунг”, и мы слушали старые песни “ДДТ”, которые очень подходили под свидания на кольцевой линии метро. На этот раз кривился Саша, но слушал.

Потом мы каждый вечер гуляли по Москве. Изучили окрестности моего института — Пушкинскую, Патриаршие пруды, Кузнецкий мост, Охотный ряд. Потом — окрестности его дома. Воробьевы горы, Битцевский парк. Затем перешли на нейтральные территории — Коломенское, Третьяковская, Китай-город. Я уже перестала удивляться, что всё это один город и что мой собственный город мог бы уместиться на нескольких станциях метро. Отец, который не был в Москве лет двадцать, очень бы удивился — как она разрослась. Что уже не одно кольцо, а два. Что есть ветки, о существовании которых он даже не слышал. Что Выхино, где он снимал комнату, когда приезжал, больше не конечная станция.

Мы с Сашей обошли пешком весь центр, объездили все окраины, целовались на всех станциях метро и автобусных остановках. А по выходным я оставалась у него. Очень быстро наши отношения стали близкими, потом очень близкими, а потом почти семейными, хотя я до сих пор не перевезла к нему из общаги свои вещи, и у меня иногда возникает ощущение отложенной жизни.

Просыпаюсь от стука в дверь. В мою дверь. С трудом вспоминаю, что заперла её вчера на ночь. Сплю я в одежде, поэтому встаю и сразу открываю. Отец стоит в дверях. Выглядит он с каждым днём всё хуже и хуже — зарастает щетиной, не моется, ходит в одной и той же майке, поэтому похож на грязного снежного человека. Даже хорошо, что он давно облысел, иначе бы зарос по самые глаза. Но взгляд уже проясняется, мутная пелена медленно, но всё-таки начинает сходить.

Он молча разворачивается и идёт на кухню. Я следом. Кастрюля с супом, которую я оставила ему вчера, наполовину пустая. Значит, он уже может сам поесть. Открывает холодильник.

— Сейчас сделаю завтрак, — говорю я.

— Пожарь картошки, что ли.

Я высыпаю в раковину шесть картофелин и открываю воду.

Отец всегда любил жареную картошку. Он делал её лучше всех. Добавлял лук, сало и жарил практически до горелок. Получалось очень жирно, но вкусно. Так вкусно не делал больше никто — ни мама, ни я сама. Ни в каком ресторане, ни за какие деньги нельзя было достать такую картошку. У меня она получается либо сырой, либо разваренной. Сало я не добавляю. Лук режу неправильно — не колечками, а мелкими разваливающимися квадратиками.

Отец смотрит, как я мучаюсь, потом подходит. Я отодвигаю от него нож, который тоже живёт в моей комнате.

— Да не бойся. Уже не так дрожат. — Он берёт нож в почти твёрдые руки и режет картошку точно на такие кусочки, на какие положено.

Мы не готовили с ним вместе ни разу после того, как не стало мамы. Даже не ели вместе. Я накладывала в тарелку еду и быстро уходила к себе в комнату. Когда садился есть отец, я не видела. До самого моего отъезда мы жили, словно соседи. Раньше мы сидели вместе вечерами на кухне, смотрели телевизор и пили чай до самой ночи. Даже никогда не спорили из-за телевизора — я любила смотреть то, что смотрел отец. В основном, фильмы — боевики, детективы, драмы. Почти никогда он не включал ток-шоу, новости и терпеть не мог комедии и сериалы. Всегда звал меня на мульттики. Кричал на всю квартиру — “Яр, мультик показывают”. Я злилась, говорила, чтобы не отвлекал меня, уроки надо делать, хотя никакие уроки я не делала. Теперь жалею — как будто нельзя было просто взять и посидеть с отцом.

— А где телек? — спрашиваю.

— Себе в комнату забрал.

Без него на кухне как-то пусто. Хотя в Москве я телевизор не смотрела вообще. У Саши подписка в интернете, а в общежитии нет телевизора. Но здесь мне сразу вспомнилось, как в рекламу старались успеть сделать пару бутербродов, налить чай и что-то обсудить, пока не начиналось продолжение. Наверное, почти все фильмы, какие я люблю, я смотрела не в интернете, а именно здесь, с отцом. Один раз отец включил концерт по музыкальному каналу.

— Да это же Юрка, — ответил отец, когда я спросила, кто это поёт.

Концерт Юрия Шевчука. Двадцатилетней давности под названием “Мир номер ноль”. Отец рассказывал, как в тот год все ждали конца света. Боялись, что компьютеры не переключатся на новое исчисление. Удивительно — разве может целый мир зависеть от каких-то компьютеров? Но всё обошлось. Мир обнулится.

Сейчас всё те же нули — двадцать и двадцать. Всё опять должно пойти заново?

— Куда ходила? — Отец выдёргивает меня из этих мыслей.

— С Лизкой гуляла, — отвечаю я машинально.

— И как она? Учится?

— Да, она же в технологический пошла. Хочет в Москву уехать.

— Всё вас в Москву тянет. Как будто здесь жизни нет.

Отец бросает в шипящую сковородку лук, достаёт из морозилки сало. Накрывает всё крышкой. Через полчаса картошка готова. Отец ставит на стол всю сковородку целиком, кладет две вилки — себе и мне. Начинает есть прямо оттуда.

— В Москве разве так поешь?

Я не спорю, тем более, он прав — в Москве можно поесть как угодно, но так уж точно нельзя. Никто никогда не положит перед тобой сковородку картошки с салом, а рядом вилку.

— Что хоть на улице? — спрашивает отец.

— Людей нет. Парки закрыты, площадки огорожены. Пойти даже некуда.

— Так карантин, — отец разводит руками, — кто бы мог подумать.

— Город не закроют?

— Да кому он нужен, город твой. Завод бы не закрыли. Тогда городу хана будет.

— Слушай, — спрашиваю я, — почему ты вообще начал пить?

— Яр, не начинай, правда, мне и так хреново. Сказал же — цех закрыли, я выпил...

— Да нет. Я не про этот раз. Я вообще.

— Вообще?

— Да. Вообще.

— Да всегда по-разному. Когда твоей мамы не стало, когда моей мамы не стало, когда Володька умер. Когда Лешка его.

— А когда мы с мамой на юг ездили?

Отец тогда пил все две недели, а когда мы вернулись, оказалось, что он пропил все накопления. Половину из которых, скорее всего, раздал или потерял.

— Когда на юг? Не помню уже. Может, обидно было. Уехали, а я остался. Не знаю, Яр.

— А почему мы вместе не поехали?

— Яр, да не знаю я. Не помню уже. Давно было.

— Всего пять лет прошло.

— Ну, вот так я живу, понимаешь? Володька брат так жил. И я живу.

— А если я так жить буду? Если все так жить будут? — злось я.

— Все так и живут. Выпьют, покаются, опять выпьют. Жизнь такая, Яр. Это тебе не Москва. У нас вот так. Стенка на стенку ходили, стрелки друг другу забивали, морды били. Потом Союз развалился. Потом Чечня эта грёбаная. С каждым выпить, каждого вспомнить. Потом работа. Смены по девять часов. Ты думаешь, откуда вот это, — отец напряг руку, и проступили стальные негибаемые мышцы, — это не фитнес ваш. Ноги, руки в цехах по молодости ломали только в путь. Обжигались все. Потом напивались до полусмерти — лечились. Страшно было, Яр. Страшно жили. А выпьешь — уже не так страшно.

— Получается, это город виноват во всем? — спрашиваю я.

Отец не отвечает. Встаёт и, шатаясь, идёт в ванну.

— Не закрывайся только, — кричу ему я.

Я всегда боялась, что отец закроется, упадёт, ударится головой о кафель, а я не смогу открыть вовремя дверь. И нужно будет ждать, пока кто-нибудь придет, вскрыет замок, и я увижу голого и мёртвого отца. Именно таким он нашёл своего брата.

А вдруг я и правда не смогу уехать? Если верить новостям, началась жуткая мировая эпидемия, значит, скоро поезда перестанут ходить, границы закроют, город замкнётся кольцом, и я останусь один на один с отцом, который сойдёт с ума от своих таблеток и станет ещё одним призраком этого жуткого, никем не любимого города.

За несколько дней до моего отъезда мы встретились с Сашей в нашем кафе на Казанском вокзале, взяли кофе, эклеры — мне жутко хотелось сладкого — вышли на улицу, потому что мне теперь везде было нечем дышать, становилось душно в аудитории, метро, кафе, встали у памятника Ленину со стаканчиками кофе и пирожными в бумажных крафтовых пакетах.

— Ты уверена? — Саша сел на пьедестал памятника.

— Саш, я только от врача, — я поставила на памятник кофе и села рядом.

— Блин, Яр, вот это дела. Я даже не знаю, что сказать. Это сейчас вообще не в тему. Ты ещё учишься. Плюс пандемия. Кто вообще заводит детей в пандемию? А если ты заболеешь?

— То есть из-за того, что какой-то китаец съел летучую мышь, мир не должен заводить детей? — Я тут же разозлилась, хотя Саша был прав.

— Блин, Яр, речь не обо всем мире. А о тебе. Подумай сама.

— Саш, это всегда не в тему.

— Почему всегда? Лет через десять я готов к детям. Но не сейчас. Блин, мне двадцать четыре. Я только после института. И у меня скоро выезды по стрельбе. Как я всё брошу?

— Ты так говоришь, как будто рожать тебе.

Я встала. Саша тоже встал и попытался меня обнять, но я его оттолкнула, залпом допила кофе и ушла. Быстро и не оборачиваясь. Саша не догнал меня, вечером не позвонил и не написал с тех пор ни строчки.

Я смотрю и не верю своим глазам. На столе стоит бутылка вина. Отец шатается около неё, то ли держа её в руках, то ли держась за неё, чтобы не упасть. Я замечаю, что бутылка открыта и, скорее всего, отец уже успел выпить из неё.

— Что это? — спрашиваю я, хотя прекрасно вижу.

— Слушай, не приставай! — отец еле ворочает языком, и я помню, что говорила врач. Таблетки, которые он пьёт, с алкоголем несовместимы.

— Что значит, не приставай? Ты вообще соображаешь? Ты же умрёшь сейчас!

— Ой, не начинай! От этого ещё никто не умер! Чуток расслабился и всё.

Отцу явно веселей. Сознание уже затуманилось. Это я понимаю, что если он сейчас опять зайдёт, то всё придётся начинать заново — отходняк, врач, капельница, лекарства.

— Выпьешь — умрёшь, — тихо говорю я.

Отцу всё равно. Тепло уже разлилось по телу, от него хорошо и спокойно.

— Ой, да от одной бутылки ничего не будет.

Я пытаюсь вспомнить, что я упустила. Куда не заглянула? Где отец мог найти её? И почему не нашёл раньше? Где-то в его комнате? На кухне? В ванной? В коридоре? В ящиках, в шкафу? Вспоминаю — несколько раз отец прятал бутылки на книжных полках. Ставил за книги, сам забывал про них, а потом неожиданно находил.

Я подхожу к столу. На какую-то секунду отец пошатнулся и выпустил бутылку из рук. Тогда я, сама от себя не ожидая такой быстрой реакции, перехватываю, вцепляюсь в неё так, будто от неё зависит моя жизнь, и отскакиваю в дальний конец кухни.

Отец замер.

— Хочешь выпить? На! Пей! — Я хватаю бутылку за горлышко, размахиваюсь и со всей силы ударяю её об стол. Она разбивается, красное вино разливается кровью на полу. У меня в руках остаётся часть бутылки, которую называют “розочка”. Я крепко держу эту “розочку”, точно собираюсь обороняться. Отец, как мне кажется, на какое-то мгновение даже отрезвел.

— Пей! — кричу я. От вида вина, запаха, усталости у меня закружилась голова, как у пьяной. Я сжимаю “розочку” и кажусь, видимо, сумасшедшей. А может, и правда сошла с ума. — Будешь теперь с пола слизывать это дерьмо! Нравится?

Он смотрит на лужу, делает движение, как будто собирается наклониться, потом поднимает глаза на меня, делает шаг в мою сторону. Я крепче сжимаю своё оружие, как будто собираюсь ударить отца. Я так устала от него за это время, что мне уже хочется избавиться от него и просто лечь спать. Если для этого нужно его убить — я готова.

— Только подойди! — слышу своё собственное жуткое шипение. — Только подойди. Когда ты уже сдохнешь! Лучше бы ты умер вместо мамы! Это ты виноват во всём. Из-за тебя она умерла.

Он резко разворачивается.

— Может, допил бы и сдох, — говорит он тихо. — А ты не дала. Дура!

Жду, когда захлопнется дверь его комнаты, разжимаю руку, роняю остатки бутылки, сажусь на пол. Мне хочется сейчас выпить это вино и стать такой же, как отец. Я бросаю на пол кухонные полотенца, которые тут же становятся кровавыми, собираю осколки и выбрасываю их вместе с остатками бутылки в мусорное ведро. Теперь, если он хочет выпить, ему придётся копаться в мусоре. Пусть выкидает вино и пьёт его вместе с осколками. Мне всё равно. Я сделала всё для этого человека. Больше я не пошевелю и пальцем.

Иду к себе в комнату, закрываю на замок дверь, открываю окно и вылезаю на крышу. Нахожу в своей заначке сигареты и банку пива. Открываю

её и выпиваю четверть залпом. Вдруг опускаю руку на живот. Он не изменился — такой же, как и вчера, и позавчера, и неделю назад. Но в то же время изменился навсегда. Мне страшно, что я сделаю то, чего нельзя будет исправить. Я отбрасываю банку с пивом, словно боюсь не справиться с собой, как отец. Потом поднимаю и выливаю содержимое до капли, словно мне нужно убедиться, что ничего в ней не осталось.

Где-то там, у меня внутри, уже живёт, всё чувствует и всё понимает новый человек. Человек, который не просил, чтобы его заводили, который появился совершенно случайно, без желания и без понимания того, что теперь с ним делать. Но он уже есть. Это не изменить. Я, наконец, понимаю, что не хочу ничего менять. Я хочу этого нового человека. Хочу больше всего на свете. Хочу, чтобы он появился, чтобы рос, развивался, шевелился, плакал, кричал. Мне плевать на всё остальное в этом чёртовом мире. На отца, на Сашу, на все эти эпидемии, даже на себя. Этот ребёнок, пока ещё не нужный никому, должен выжить, должен жить и должен родиться. Нет. Не так. Не должен. Он никому ничего не должен.

На вокзале ни одного отъезжающего.

— До Москвы, — говорю я в кассе и протягиваю деньги.

Я взяла из дома семь тысяч. Ещё семь оставила отцу.

— На сегодня? — спрашивает кассирша. Она спустила на подбородок маску и жуёт бутерброд, держа его одной рукой в перчатке. Второй рукой, без перчатки, берёт деньги.

— А что, можно на сегодня?

— Желающих ехать в Москву не находится.

Я выбираю место и покупаю билет. Поезд в одиннадцать вечера. Можно подождать на вокзале или погулять по городу. Домой я возвращаться не хочу. Я оставила отцу ключи, теперь он может выйти из дома, напиться и делать всё, что считает нужным.

Отхожу от кассы и сажусь на лавочку. Голова кружится с самого утра. Я почти ничего не ела, и у меня жутко тянет живот. Вниз, как при месячных. Но никаких месячных у меня сейчас быть не может. Иду в туалет — посмотреть. Крови нет, но живот тянет всё сильнее. Настолько, что я с трудом разгибаюсь.

Я достаю телефон и звоню единственному человеку, который может меня отсюда забрать, — Ирине Валерьевне.

Через полчаса уже лежу на её диване. Рассказываю ей про ребёнка. Она мягко, едва касаясь, трогает живот.

— Выделений нет? — спрашивает.

— Нет. Просто тянет вниз.

— Ярослава, тебе нужно не по городу скакать, а лежать дома.

Она уже померила мне температуру, давление, пощупала пульс.

— Сейчас болит?

— Да вроде нет.

На этот раз дома её муж. Он сидит на кухне и не заходит к нам, точно понимает — то, о чём мы говорим, касается только нас, а он, как мужчина, здесь лишний. Я представляла себе мужа Иринки совсем другим. Научным сотрудником, преподавателем в институте. А он работал на заводе и ничем не отличался от большинства мужчин нашего города.

Тихонько заходит. Даже не заходит — заглядывает, едва приоткрыв дверь:

— Ир, может, “скорую”?

— Да нет, Вить. Всё вроде хорошо. Сделай ещё чай.

Я никогда не слышала, что люди так говорят. Обычные люди. Так говорят герои в книгах, сериалах на “Первом канале”. Без криков, без раздражения, без недовольного хлопанья дверьми. Он выходит и заходит уже с двумя чашками чая. Ставит на столик у дивана и тут же исчезает, чтобы не мешать нашему женскому, чего он не понимает и подсознательно боится.

— А что ты вообще делала на вокзале? — спрашивает Иринка.

Я достаю билет.

— Ещё успеешь.

Я мотаю головой. Приподнимаюсь на диване, облокачиваюсь на подушку, пью чай, который сделал мне её муж. Это самый лучший чай — с какими-то травами, лимоном, мёдом. Вкусней я в жизни не пила.

— У нас чай только Витя заваривает, — улыбается Иринка. — Я не умею. Или слишком чёрный, или слишком слабый. Или лимон забуду.

После того случая с вином мы с отцом не разговариваем. Я оставляю ему таблетки и еду на столе, а сама ухожу на весь день гулять по городу. Хожу по знакомым дорогам. К тупику, где так часто дрались. В парки — закрытые и заколоченные. На детские площадки. Под мосты. В роу. К реке. На другую сторону города. К своей школе, погружённой в темноту, с единственным горящим окном на первом этаже — каморкой охранника.

Город пуст и безлюден. От этого он кажется ещё более ветреным. Через несколько дней обещают потепление. Возможно, тогда ветер стихнет. А сейчас мы с городом похожи — мы вдруг остались одни, наедине друг с другом. Как будто вся эта эпидемия придумана только для того, чтобы мы могли побыть вдвоём. Нам это оказалось важно.

Когда я уезжала два года назад, у нас с городом не было возможности попрощаться. А сейчас, когда ехать некуда, такая возможность появилась. Но я не прощаюсь. Я знакомлюсь с ним заново. С тем городом, в котором я выросла.

Что делает отец в это время — я не знаю. Я его почти не вижу, хотя он по-прежнему не выходит из дома. Бутылок больше нет. Запаха спиртного тоже, и я даже перестаю верить своему носу, возможно, отсутствие запаха — это просто симптом вируса. Хотя остальные запахи я чувствую. Таблетки, которые я оставляю отцу, к вечеру исчезают. Еда тоже. Это хороший знак.

Вечерами из комнаты отца доносятся не звуки телевизора, а музыка. Он включает на моём старом компьютере те песни, которые любил.

Раньше меня это раздражало. Я запиралась у себя и включала в наушниках свою музыку, лишь бы не слышать этот дребезжащий русский рок. Но потом вслушалась. Постепенно начинала различать группы и узнавать песни.

У отца все певцы были как будто близкие друзья. Этот — Юрка, этот — Сашка, этот — Витька. Володька. Только Гребенщикова он называл Борис Борисыч. По имени и отчеству, точно выделяя.

Я сижу на корточках под его закрытой дверью и слушаю. Облокачиваюсь на неё, закрываю глаза и ощущаю такую невыносимую близость, такую жгучую любовь к этому совершенно, казалось бы, чужому человеку. Такой близости я не чувствовала даже к маме. Мама для меня была тем человеком, на ком держался дом — она готовила, убирала, читала мне книжки на ночь, отводила на кружки и в школу. Отец ничего этого не делал. Но почему-то именно к нему тянуло больше. Мне хотелось проникнуть в его мир, понять, о чём он думает, что любит, как живёт. Но этот мир был закрыт. И для меня, и для мамы. Наверное, только через музыку, через чужие слова чужих песен, многие авторы которых давно умерли, я понимала его. Через эти слова я словно бы слышала, что хочет сказать мне отец.

Книги я полюбила тоже благодаря отцу. Даже не маме, которая научила меня читать в шесть лет, за которой я бегала с книжкой — “Мама, итай!” А именно отцу. Когда он уходил в запой и оставался точно так же дома по неделям, а я сидела с ним, я запиралась в комнате, надевала наушники, чтобы не слышать его, и читала. Я прочитала тогда всю небольшую библиотеку, какая была у нас дома. По количеству прочитанных и сложенных стопкой книг у меня в комнате можно было определить, сколько дней отец был в запое.

Эдгар По — неделя. “Братья Карамазовы” Достоевского — две. Двухтомник Толстого — три.

Книги стояли в родительской комнате, в шкафу. Внизу — детские, сверху — взрослые. Меня тянуло ко взрослым. Мама собирала Бальзака, Дюма, Стендаля, Гюго. Отец Бунина, Толстого, Булгакова, Пастернака. Я брала,

в основном, книги отца. Сразу стопку, а возвращала обратно через несколько месяцев. Так постепенно я привыкала к отцу через его музыку и его книги.

— Яр, — отец садится около моей кровати, и я просыпаюсь от короткого тревожного сна.

Я сплю чутко, готовая в любую минуту вскочить, как будто готовлюсь к побегу посреди ночи. Почему-то всегда внезапные отъезды мне представляются именно так — вся семья лежит на кроватях, одетая, вдруг раздаётся звонок, и все векакивают, хватают чемоданы, заранее собранные, и исчезают навсегда.

— Что? Воды дать? — спрашиваю я спросонья.

— Яр, мне страшно.

— Мне тоже.

— Дай я лягу.

— Здесь что ли? Ну, ложись.

Я приподнимаюсь, чтоб дать ему место. Отец ложится рядом, сворачивается калачиком, как эмбрион, дрожит. Я накрываю его своим одеялом и сажусь на кровать.

— Не уходи, — говорит он, — посиди со мной. — У тебя вообще, как дела в Москве?

— Все хорошо. Спи.

— А замуж не вышла?

— Не вышла. Спи.

— А то выйдешь, мне не скажешь.

— Скажу. Спи уже.

— Ты не уедешь?

— Не уеду. Спи.

— Я совсем ничего не знаю о тебе. Как ты живёшь? Что у тебя происходит? Совсем ничего.

— Спи. Всё хорошо.

— Хо-ро-шо, — растягивает отец слова, — пи-ить. Не пи-ить. Спа-ать.

И наконец, засыпает. Я прислоняюсь к стене, закрываю глаза, но не ложусь — боюсь разбудить отца. Только прячу замерзшую руку под одеяло и сталкиваюсь с его — сильной, гораздо сильнее, чем у всех мужиков в нашем городе. Я начинаю понимать маму — почему она всю жизнь боролась за моего отца.

Через неделю отец помылся, побрился ещё неуверенной рукой, два раза порезавшись, переоделся во всё чистое — белую футболку, джинсы, светлую куртку на молнии. Даже почистил ботинки, стоптанные, но блестящие как новенькие.

Отец больше не пьёт, и мы идём с ним в наркодиспансер. Ему зашьют под кожу капсулу с дисульфирамом. С этой минуты пить будет нельзя. Совсем. Это даёт гарантию, что он не сорвётся год. Конечно, бывалые знают, что есть способы “раскодироваться”, но отец ими никогда не пользовался. Всё-таки боялся.

Диспансер недалеко от дома. От недавнего погрома не осталось и следа. Город убран и вычищен и уже готовится к лету. Готовится всё начать заново и избавляется от всего, что напоминает этот страшный месяц. Потеплевший ветер дует мягко.

Отец выглядит хорошо. Если не считать порезов на щеках от бритвы. Я жду за дверью, пока отец сидит в кабинете. Лекарство начнет действовать немедленно. Будет растворяться, а вместе с ним будет растворяться всё, что накопилось за это время. И жизнь начинается с чистого листа. Может, ради этого момента все и пьют? Чтобы выйти из кабинета и сказать:

— Ну всё! Теперь всё пойдёт заново.

— Смотри, — следом выходит врачиха. — Через год приходи.

Она примерно возраста отца, ещё вполне красивая.

— Дочь твоя? — спрашивает.

— Моя.

— На тебя похожа. — Она улыбается и уходит делать укол следующему начинающему новую жизнь.

А мы возвращаемся домой.

— Пап, — я останавливаюсь посреди коридора и понимаю, что больше не могу молчать о том, ради чего приехала, — у меня будет ребёнок.

Отец, успевший немного уйти вперед, тоже останавливается и оборачивается.

— В смысле? Как? Откуда?

— Оттуда, откуда и у всех.

— Но ты же... Ты же ещё маленькая...

— Пап, мне двадцать.

— А муж?

— Ну, какой муж? При чём здесь муж? У меня будет ребёнок. Ты меня слышишь вообще?

— И когда он будет?

— Ну не завтра. Через семь месяцев примерно. Саша вроде как не хочет сейчас детей. Парень. Мой.

Я сама не верю, что всё это говорю отцу. Я совершенно не так должна была сказать ему. Не в коридоре наркодиспансера. Дома, за ужином. А мы стоим посреди всего этого ужаса, но мне кажется, лучше места и придумать нельзя. Мы такие. Мы не станем другими. Это наша жизнь. Другой у нас нет и никогда не будет.

Отец напрягается и даже как будто меняется в лице.

— И что говорит этот Саша?

— Говорит, что не знает, как быть отцом так рано. Я и сама не знаю. Я совсем не готова к ребёнку. Что я буду делать с ним?

Отец смотрит на меня, как мне кажется, слишком долго, точно не веря, что я его дочь, что его дочь выросла, что она может завести парня, родить ребёнка. Что я уже два года не учусь в школе и не живу дома.

— Мы с твоей мамой всегда хотели второго, — говорит отец, — но мы и тебя с трудом... В общем, оставайся здесь. Я вроде помирать не собираюсь.

— А институт? А пандемия?

— И что пандемия? Люди в войну рожали и ничего. А институт... Ну доучишься потом. Да это вообще всё не важно. А мальчик или девочка?

— Пап, ну ты что? Пол ещё нельзя определить.

— Я пацана всему научу — и строгать, и пилить. Он у меня мастером станет.

— А если девочка?

— Ну и девочку можно. У нас там такие девки — хлеще мужиков. Мы имя ещё с твоей мамой думали. Женька. И пацана, и девчонку так назвать можно. Нормально будет. Пойдём домой. Тебе нельзя, наверное, по больницам шастать. Мало ли что подхватишь тут от этих алкашей.

Он берёт меня за руку, как раньше, в те вечера, когда мама была на сутках, а он забирал меня с ненавистной продлёнки, где были собранные со всех классов начальной школы дети, несчастные, а потому злые и грубые, которых некому забрать из школы домой, и вместо телевизора и домашней еды они получали школьную столовую, парту и учебники с тетрадами. Больше всего на свете я не хотела оставаться в их компании. Я была безумно рада, когда в дверях класса появлялся отец. Все оборачивались, и я видела, сколько зависти было в их глазах. Не только потому, что я уходила домой, а они оставались. А потом что — отец. Не мама или бабушка, которые сразу заставят умыться, переодеться и опять садиться за уроки. А отец, который по дороге расскажет что-то по-настоящему интересное, а дома включит сериал и нарежет бутерброды. В те минуты все мечтали, чтобы их тоже забрал именно мой отец. И я быстро кидала в рюкзак учебники и бежала за ним, едва поспевая — он всегда шёл быстро и никогда не оборачивался, чтобы посмотреть, не отстала ли я. А когда мы оказывались на улице, брал меня за руку и уводил прочь от того места, где мне не нравилось, туда, где было хорошо и спокойно. Домой.

Теперь, после укола отцу надо будет много спать. И мне тоже. Мне кажется, я смогу проспать несколько недель подряд. Весь остаток карантина. Месяц, два, три — это уже не важно. Я вернулась домой.

Наконец-то обещанное тепло докатилось и до нашего города. Температура в городе взлетела на несколько ощутимых градусов вверх. Карантин слегка ослабили. Часть цехов заработала. Город продолжил жить. Говорят, что прежней жизнь уже не станет никогда. Но меня это больше не пугает. Жизнь меняется всегда. Каждый новый век, год, месяц, день приносят что-то своё. Бояться этого — значит, бояться жизни вообще. Теперь, когда во мне зародилась новая жизнь, и я отвечаю не только за себя или за отца, но и за эту жизнь, мне больше нечего бояться.

Я сдала сессию и перешла на третий курс. Написала заявление на свободное посещение, тем более что лекции у нас по-прежнему дистанционно. Саше я не звонила, он написал сообщение, но я удалила его, не ответив.

В конце июня, когда карантинные ограничения ослаблены и жизнь в Москве снова бурлит, я стою на Ярославском вокзале. На этот раз жду отца. Он должен приехать, чтобы помочь мне собрать вещи. Я хочу увезти всё, что накопила за недолгую жизнь в Москве — кофейные чашки, книги, игрушки, которые мне дарил Саша.

Вчера вечером, перед тем, как сесть в поезд, отец прислал мне на телефон фотографию. Небольшой игрушечный кораблик. С резной мачтой и полукруглыми парусами. И флажком на самом верху. Удивительно, как он смог сделать такую сложную игрушку не из дерева, а из стали. Значит, руки у него снова твёрдые.